

ПОЛИНА
Дашкова

Представляем романы Полины Дашковой

Вечная ночь

Горлов тупик

Золотой песок

Источник счастья.

Книга первая

Источник счастья.

Книга вторая. Misterium Tremendum.

Тайна, приводящая в трепет

Источник счастья.

Книга третья. Небо над бездной

Кровь нерожденных

Легкие шаги безумия

Место под солнцем

Никто не заплачет

Образ врага

Пакт

Питомник

Приз

Соотношение сил

Точка невозврата

Херувим

Марионетка

Чувство реальности

Эфирное время

ПОЛИНА
ДАШКОВА
Источник света

Книга первая



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Д21

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Разработка серии — *Андрей Фerez*

Дашкова, Полина Викторовна.
Д21 Источник счастья. Книга первая : [роман] /
Полина Дашкова. — Москва : Издательство АСТ,
2022. — 496 с. — (Полина Дашкова — лучшая среди
лучших).

ISBN 978-5-17-147499-7

Петр Борисович Кольт — миллиардер. Нет такой сделки, которую он не сумел бы заключить. Он может купить все, что пожелает. Он привык побеждать и не терпит поражений. Он хочет вернуть молодость и жить вечно. Петр Борисович не верит мифам о философском камне и стволовых клетках. Его интересует таинственное открытие, сделанное в Москве в 1916 году военным хирургом профессором Свешниковым. Никто не знает, в чем суть открытия. Все записи профессора исчезли во время революции и гражданской войны. Сам он тоже исчез. Известно, где и когда он умер. И умер ли вообще?..

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-147499-7

© Дашкова П.В.
© ООО «Издательство АСТ», 2022

«Покойный старик верно искал
философского камня... проказник!
И как он умел сохранить это в се-
крете!»

В.Ф. Одоевский, «Сильфида»

Глава первая

Москва, 1916

Квартира профессора Свешникова Михаила Владимировича занимала четвертый этаж в новом доме по Второй Тверской-Ямской улице. Профессор был нестар, вдов, имел троих детей. Злые языки утверждали, что всех их он вырастил в прорубках. Среди окрестных торговок ходили слухи, будто этот доктор оживляет покойников, умеет оборачиваться черной собакой и белой мышью, живет две тысячи лет. Получил дворянство, звание профессора и царского генерала при помощи черной магии, а также японской и немецкой разведок.

Впрочем, ни сам Михаил Владимирович, ни его домашние об этих слухах не ведали. Только горничная Марина, тихая полная девушка двадцати пяти лет, иногда после похода в бакалейную лавку пыталась делиться рассказами торговок с няней, Авдотьей Борисовной, старой и почти глухой. Когда Марина громко шептала ей на ухо, Авдотья Борисовна вздыхала, охала и качала головой. Она думала, что Марина говорит о каких-то вымышленных персонажах, о ком-то из газет или из книжек. Она ни на миг не могла вообразить, что речь идет о ее драгоценном Мишеньке, которому она когда-то, в другом веке, была не только няней, но и кормилицей.

Москва кишела медиумами, предсказателями, гипнотизерами, хиромантами, колдунами — на любой вкус. В том же доме над квартирой профессора жил спирит Бубликов, и даже табличка на двери блестела «Доктор эзотерики, великий маг, заслуженный спирит Российской Империи Бубликов А.А.». Но почему-то он интересовал торговок куда меньше, чем профессор Свешников.

Темным январским утром 1916 года, в седьмом часу, из окна четвертого этажа, выходявшего во двор, раздался отчаянный женский визг. Дворник Сулейман воткнул лопату в сугроб, по-

смотрел наверх. Форточка была приоткрыта, сквозь плотные шторы пробивался яркий электрический свет. Полоска света лежала на темном сугробе, и отдельные снежинки искрились в ней, как россыпь мелких алмазов.

За визгом ничего, кроме тишины, не последовало. Дворник снял варежку, тихо и тщательно помолился Аллаху.

В бывшем обеденном зале, отведенном под лабораторию, старая горничная Клавдия сидела на полу и нюхала нашатырь. Над ней склонился профессор Свешников. Небритый, сонный, в шелковом стеганом халате, с полотенцем вокруг шеи, в теплых домашних туфлях, он только что выскочил из ванной комнаты на крик горничной.

— Ну, ну, тихо, Клавушка, будет тебе трястись, — говорил профессор приятным, хриплым со сна баритоном, — успокойся и расскажи все по порядку.

Клавдия шмыгнула носом, подняла дрожащую руку и указала в дальний угол, туда, где за больничной клеенчатой ширмой стояли три небольших стеклянных ящика с частыми дырочками для воздуха. В одном метались и беззвучно пищали две жирные белые крысы. В другом копошилась дюжина маленьких крысят. Третий был пуст.

— Ты открывала клетку?

Клавдия категорически замотала головой. Михаил Владимирович поднял ее под мышки, довел до кушетки, усадил и решительно направился в крысиный угол.

Толстое прочное стекло треснуло в нескольких местах. Круглая металлическая крышка была откинута. Тонкая сосновая стружка, выстилавшая дно ящика, валялась вокруг, на полу.

— Ты видела его? — спросил профессор Клавдию, разглядывая свежие царапины на металле, сломанную маленькую задвижку.

— Еще бы не видела! Кинулся на меня, нечисть, и откуда только силы у него, старый, больной насквозь. Почти уж издох, а прыгнул прямо вот на такую высоту. — Клавдия отмерила метра полтора от пола. — Чуть в лицо не вцепился, сволочь, едва от него, заразы, веником отбилась.

Горничная Клавдия была женщина богобоязненная, молчаливая и чопорная. Никогда она не тараторила, не повышала голоса,

не произносила бранных слов. Сейчас щеки ее пылали, глаза блестели. Она дрожала, как в лихорадке, и облизывала пересохшие губы. Михаил Владимирович по старой докторской привычке прижал пальцы к ее запястью, машинально отметил про себя, что пульс бешеный, не меньше ста пятидесяти в минуту, и что у него самого точно такой же.

— Погоди, ты хочешь сказать, он свалился откуда-то? — уточнил профессор и огляделся.

— Да какой — свалился?! Нет!

— Ну, а что же? Подпрыгнул прямо от пола? Вот на такую высоту? — Михаил Владимирович нервно усмехнулся.

— Взлетел вверх, будто он птица, а не крыса. Ай ты, батюшки, да что же это? — Клавдия открыла рот, вытаращила глаза.

Стало тихо. В тишине раздавался шорох лопаты дворника, убиравшего во дворе снег. К этому звуку прибавился другой, упрямый и тревожный скрип.

Плюшевая коричневая штора дергалась быстро и сильно, как будто ожила. Конец массивного деревянного карниза с треском пополз вниз, посыпалась штукатурка.

Первым опомнился профессор. Одним прыжком он долетел до окна и упал на скачущую штору.

— Клава, эфир, быстро! И перчатки, перчатки надень!

Михаил Владимирович стоял на коленях. Пойманная штора металась и пищала в его руках. Он сопел и отдувался. Глаза его сияли, под серой щетиной проглядывал румянец. Он был похож на вратаря, который поймал мяч в последний момент, когда матч почти проигран.

— Нет! — шепотом крикнула Клава. — Я не могу! Бог свидетель, Михаил Владимирович. Не могу. Вы морду его видели? Глаза видели?

— Перестань, это всего лишь крыса. Надень перчатки.

Сверху качался карниз. Он едва держался на одном винте. Медный шар-наконечник грозил обрушиться на профессорскую голову. Клавдия сидела неподвижно, только губы едва заметно шевелились. Она бормотала молитву.

— Ладно, иди. Разбуди Таню, — сказал профессор.

Старая горничная резво вскочила, убежала и в коридоре у самой двери налетела на барышню семнадцати лет, дочь Михаила Владимировича. Таня уже сама проснулась от шума. В желтом пеньюаре, тонкая, голубоглазая, с распущенными светлыми волосами до пояса, она спешила в лабораторию на помощь отцу.

Через четверть часа на маленьком операционном столе лежал усыпленный эфиром толстый зверек. Это была лабораторная крыса, вернее, крыс. Совершенно белый, но с рыжим пятном под нижней челюстью. Странная, невероятная для крысиного рода отметина по форме своей напоминала отчетливую пентаграмму, пятиконечную звезду, перевернутую верхушкой вниз.

— Не иначе, прапрабабка этого крыса согрешила с кем-то из предков няниного кота, — заметила однажды Таня, — у красавца Мурзика на шее точно такое пятно, правда, круглое.

— Исключено, — возразил Михаил Владимирович. — Между кошками и крысами такие отношения невозможны.

Таня тогда смеялась до икоты. Ее ужасно забавляло выражение отцовского лица в моменты глубокой сосредоточенности, когда он переставал понимать шутки и даже самые абсурдные предположения обдумывал всерьез.

— Давай назовем его Гришка, в честь Распутина, — предложила Таня и тронула пальчиком рыжую пентаграмму.

— Сколько раз я тебе говорил: подопытным животным имена давать нельзя, только номера, — нахмурился отец. — И при чем здесь мистический мужик Ее Величества? Не он один в мире зовется Григорием. Мендель, основоположник генетики, тоже был Григорием.

— Тем более! Я буду звать его Гришка Третий! — веселилась Таня.

— Не смей! При мне, во всяком случае! — злился отец.

Диалог этот произошел около года назад. С тех пор Таня постоянно называла подопытного крыса с рыжим пятном Гришкой Третьим. Михаил Владимирович не заметил, как сам стал звать его так же.

Сейчас оба они, отец и дочь, растерянно смотрели на спящего зверька. Розовый голый хвост слегка подрагивал. Лапки, по-

хожие на миниатюрные, изящные дамские ручки, произвели несколько слабых скребущих движений и успокоились.

— Нет, папа, это не Гришка, конечно, — сказала Таня и зевнула. — Смотри, шкурка белая, пушистая, розовые склеры. Кожа мягкая, молодая. А где пятно? Ну где, покажи, пожалуйста.

— Вот оно. На месте.

— Все равно не верю. У Гришки огромное потомство, кто-то из очередного помета мог унаследовать рыжую пентаграмму. Это внук или правнук. Гришка почти весь облысел после операции.

— Облысел. Но теперь оброс.

— Так быстро?

— За месяц. Это нормально.

— И окрас новой шерсти в точности как прежний, та же пентаграмма на горле?

— Как видишь.

— У Гришки должен быть шрам на черепе. Где он? Никакого шрама нет.

Танина рука в черной медицинской перчатке осторожно перевернула крысу на брюшко. Михаил Владимирович взял большую лупу, разгреб густую блестящую шерсть на крысиной холке.

— Вот он, шрам. Совсем маленький.

— Папа, перестань! — Таня помотала головой. — Рана не могла зажить так быстро, и шерсть не могла вырасти. Ты же не алхимик, не средневековый маг, не доктор Фауст! Ты сам отлично понимаешь, что это чушь и бред. Над тобой смеяться будут. Не может крыса двадцати семи месяцев от роду выглядеть вот так, не может! Двадцать семь месяцев для крысы — это все равно что девяносто для человека.

— Эй, погоди, а что ты так кричишь? Почему ты перепугалась, Танечка? — Доктор погладил дочь по щеке. — У старого крыса выросла новая молодая шерсть. Порозовели склеры. Бывает.

— Бывает? — крикнула Таня, стянула перчатки и отшвырнула их в угол. — Папа, ты, кажется, с ума сошел! Ты же сам уверял, что биологические часы никогда не идут вспять.

— Не кричи. Помоги мне взять у него кровь на анализ, пока он спит, и подумай, как нам укрепить крышку клетки, чтобы он опять не выскочил.

Михаил Владимирович уже держал в руках стальное перышко и чистую пробирку. Таня быстро скрутила в узел мешавшие ей волосы, повязала низко на лоб косынку, надела чистые перчатки. При этом она продолжала громко, нервно говорить:

— Он родился 1 августа четырнадцатого года, этой даты забыть нельзя. Война началась. Он единственный из помета выжил. Хилый, но агрессивный.

— Вот именно, агрессивный, — пробормотал Михаил Владимирович, счастливо щурясь.

Капля крысиной крови скатилась в тонкую пробирку. Таня взяла сонного крыса и, пока несла его назад, в ящик, чувствовала сквозь перчатку тепло и пульсацию мягкого тельца. На миг ей показалось, что в руках у нее не лабораторный зверек, каких она перевидала с детства великое множество и совершенно не боялась, а существо странной, неземной породы. Она покосилась на отца, склонившегося к микроскопу. На макушке у него сквозь жесткий седой бобрик розово сияла лысина. Гришка зашевелил лапками. Эфир переставал действовать. Таня опустила крыса в ящик, на стружку, сверху придавила крышку тяжелой мраморной подставкой от чернильного прибора.

— Будешь его вскрывать? — спросила Таня, стягивая перчатки и косынку.

Вопрос пришлось повторить громче. Отец прилип к микроскопу.

— А? Нет, еще понаблюдаю. Прикажи там, пусть ставят самовар. Ну, что застыла? Иди, опоздаешь в гимназию.

— Папа!

— Что, Таня?

— Скажи, тебе удалось выделить тот самый белок?

— Не знаю. Вряд ли.

— Тогда почему?

Михаил Владимирович поднял наконец голову от микроскопа и посмотрел на дочь.

— Все просто, Танечка. Он соблюдал диету, активно двигался. Клетка ближе других к окну, форточка открыта, он дышал свежим воздухом.

— Папа, перестань! Ты тоже соблюдаешь диету и дышишь свежим воздухом!

Михаил Владимирович ничего не ответил. Он опять прилип к микроскопу. Таня вышла из лаборатории, тихо затворив дверь.

* * *

Москва, 2006

В прихожей заливался звонок. На тумбочке чирикал соловьем мобильный, сообщая, что пришла почта. Соня проснулась и тут же увидела папу. Он сидел на краю кровати, приложив палец к губам, и мотал головой.

— Не открывай, — прошептал он, — ни за что не открывай.

Соня встала, накинула халат поверх пижамы, прошлепала босиком в прихожую. Папа остался сидеть, ничего больше не сказал, только проводил ее грустным детским взглядом.

— Лукьянова Софья Дмитриевна? — спросил мужской голос за дверью.

— Да, — просипела Соня и закашлялась.

— Откройте, пожалуйста. Вам посылка.

— От кого?

За дверью что-то сухо зашуршало.

— Прочтите сообщение на мобильном. Оно поступило двадцать минут назад, — произнес глухой мужской голос.

Возвращаясь в комнату за телефоном, Соня взглянула в зеркало. Ветхий мамин халат болтался на тощих плечах, как мешок на огородном пугале. Бинт за ночь съехал на шею, волосы безобразно сваялись, в них запутались клочья ваты. Правое ухо от спиртовых компрессов покраснело, распухло и шелушилось. Судя по ознобу, температура с утра у нее была не меньше тридцати восьми. В ухе продолжало стрелять и булькать, ныла вся правая половина головы.

«Уважаемая Софья Дмитриевна! Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю здоровья и творческих успехов! И.З.»

Это сообщение было последним. Оно действительно пришло двадцать минут назад, то есть в половине одиннадцатого. Перед ним пришло еще три. Соня не стала их читать, захлопнула телефон, поплелась назад, в прихожую.

— Не открывай, — шепотом повторил папа.

Теперь он стоял рядом. Щеки порозовели. Трепетал нежный седой пух на макушке. Глаза казались больше и ярче.

За дверью было тихо.

— Эй, вы еще здесь? — спросила Соня.

Ответа не последовало.

— Кажется, ушли, — сказала Соня папе. — Я все-таки открою, посмотрю. Ладно?

Папа испуганно замотал головой.

Из-за температуры, из-за боли и постоянной стрельбы в ухо все было подернуто вязкой мутью, как будто воздух в маленькой квартире сгустился.

— Ну чего ты боишься? — спросила Соня. — Тебе просто приснился плохой сон.

— Нет, — сказал папа, — это не сон. Это все наяву, Сонечка. Прошу тебя, не открывай дверь.

— Никогда?

— Не знаю. Во всяком случае, сейчас не надо.

Несколько секунд они стояли и молча смотрели друг на друга.

— Ладно. Мне все равно. Я лягу, — сказала Соня. — Ты не помнишь, где у нас градусник?

Папа шагнул к ней и прикоснулся губами ко лбу.

— Тридцать восемь и два. Градусник ты разбила вчера ночью. Не забудь, пожалуйста, вымести ртуть из-под кровати. Ты же знаешь, как это вредно.

— Хорошо. А где веник?

— В машине. Ты стряхивала снег и оставила веник в багажнике. А второго у нас нет. Но не вздумай за ним идти. Там метель, очень холодно. Ртуть можно собрать влажной тряпочкой. Я бы сам это сделал, но...

Из комнаты послышалась соловьиная трель мобильного. Опять пришло сообщение. В дверь позвонили, на этот раз так пронзительно громко, что Соня вздрогнула.

— Софи, ты дома? Спишь, что ли?

Этот голос нельзя было не узнать. Раскатистый, зернистый бас. Почти каждый день он звучал за кадром по телевизору на одном частном непопулярном канале. В кадре при этом обычно показывали рекламу электронных излучателей, которые лечат синусит, ожирение и воспаление предстательной железы; жгучих целительниц, которые снимают порчу и возвращают блудных мужей; аппаратики для удаления нежелательных волос и выращивания желательных. Папа включал именно этот канал, специально, чтобы послушать, как Нолик пьющий рекламирует своим авторитетным басом таблетки для лечения алкоголизма, как Нолик толстый рассказывает о новейших методах мгновенного похудения.

Блудная жена ушла от Нолика год назад. К ворожеям он не обращался, вместо этого торчал вечера напролет на кухне у Лукьяновых и говорил, что жизнь кончена.

— Софи, это я! Открой!

Бас Нолика звучал бодро и радостно. Соня подумала, что дело совсем плохо. Раньше по утрам он не напивался. Несколько минут она возилась с замками. Папа стоял рядом и напряженно молчал. Дверь наконец открылась.

— Мяу-мяу! — сказал Нолик.

Его круглая физиономия сияла. Выпив, он всегда мяукал. Но вместо запаха перегара Соне ударила в ноздри густая свежая волна аромата живых цветов. Нолик держал под мышкой огромный букет роз. Багровые, почти черные тугие бутоны были усыпаны капельками воды.

— Поздравляю. — Он перешагнул порог и потянулся губами к Сониной щеке.

— С ума сошел? — спросила Соня и поморщилась от очередной пулеметной очереди в ухо.

— К сожалению, врожденная честность не дает соврать, — вздохнул Нолик и выпятил нижнюю губу, — это не я. Они лежа-

ли на коврик у двери. Я только слышал, как кто-то спустился на лифте. Если ты сейчас быстренько помотришь в окно из кухни, ты, может быть, успеешь увидеть.

— Веник, — произнесла Соня и зашлась кашлем.

— Какой веник?! Шикарные розы! Ну, ты даешь, Софи! — возмущился Нолик. — Красота немислимая, посмотри, понюхай! Надо обязательно обрезать и обжечь стебли.

— Ключи от машины в кармане моей синей куртки, спустись и принеси, пожалуйста, веник. Он в багажнике. Я разбила градусник, нужно смести ртуть.

— А, понял, — кивнул Нолик. — Сейчас сделаю. Только не бросай розы, поставь их в воду.

Дверь за ним закрылась. Соня осталась стоять, обняв обеими руками шуршащий букет. Большой вазы в доме не было. Единственной посудиноу, подходящей по объему, оказалось пластиковое помойное ведро. Соня вытащила из него мешок с мусором, ополоснула, налила воду. Пока она возилась с цветами, вернулся Нолик. Вместе с веником он принес небольшой коричневый портфель и торжественно вручил Соне.

— Помнишь, как говорит моя мама, когда теряются нужные вещи? Где-нибудь лежит и молчит! Вот, он валялся под передним пассажирским сиденьем и, конечно, молчал. Хотя, даже если бы он и мог что-то сказать, его бы вряд ли услышали.

Это был папин портфель. Он пропал как раз в тот ужасный вечер, девять дней назад.

— Папа! — позвала Соня. — Иди сюда, смотри, Нолик нашел твой драгоценный ридикюль.

— Не кричи, — прошептал папа, — я отлично слышу. Я тут, рядом.

Он действительно стоял рядом, прямо перед Соней. За несколько минут лицо его осунулось, состарилось, щеки сморщились и побледнели, подернулись серой стариковской щетиной, седой пух пригладился, прилип к коже. Глаза стали тусклыми и такими безнадежными, что Соню пробрал озноб.

— Ты совсем не рад, что нашелся портфель? — тихо спросила Соня.

Папа скорбно покачал головой и положил руки ей на плечи. Руки были слишком тяжелые и теплые. Соня крепко зажмурилась, пытаясь унять головокружение, а когда открыла глаза, увидела испуганное лицо Нолика, почувствовала его огромные лапы на плечах.

— Софи, посмотри на меня! Это я, Софи! Ты вообще меня видишь? Слышишь? Что за веревка у тебя на шее?

— Дурак! Это не веревка, а бинт. У меня, Нолик, воспаление среднего уха, я делала на ночь компресс, и он съехал. Я тебя отлично вижу и слышу. В чем дело?

— Ты только что разговаривала с Дмитрием Николаевичем.

— Да. И что?

Нолик прижал ладонь к ее лбу.

— У тебя жар. Но не такой сильный, чтобы бредить. Приди в себя, пожалуйста.

Бедняга Нолик так испугался, что от легкого утреннего хмеля не осталось и следа. Соня пришла в себя, исключительно ради Нолика, чтобы он не волновался.

— Все нормально. Я в порядке. Я знаю, что папа умер, в прошлую среду мы его похоронили, и сегодня девятый день.

— Уф-ф, слава богу, — вздохнул Нолик, — ты только забыла добавить, что сегодня еще и день твоего рождения. Тебе, Софи, стукнуло тридцать лет. Здесь тридцать одна роза. Некто добавил один цветок, потому что четное число в букете — плохая примета. Только такая пофигистка, как ты, могла поставить розы в помойное ведро. Воды хотя бы налила?

— Естественно! Арнольд, почему ты не подарил мне на день рожденья большую красивую вазу?

— У меня для тебя другой подарок. Но ты, Репчатая, его не получишь, если будешь называть меня Арнольдом. Еще раз услышу — уйду.

— Ага! Кубарем выкатись, если еще раз назовешь меня Репчатая!

Секунду они смотрели друг на друга грозно, как будто собирались подраться. Нолик возмущенно пыхтел. Лет двадцать назад они бы, правда, подрались, не больно, но обидно. Нолик

терпеть не мог своего полного имени — Арнольд. А Соню раздражало детское прозвище Репчатая. Тут же возникал в памяти школьный коридор, зеленые масляные стены, серый в стрелочку линолеум, топот ног за спиной и крики: «Лукьянова! Лук! Луковица репчатая!»

Нолик учился в той же школе, двумя классами старше, и жил когда-то в квартире напротив. Именно из-за него за Соней тогда гнались и обзывали Репчатой. Он нравился самой энергичной девочке в Сонином классе, Нине Марковой. Нина писала ему записки и требовала, чтобы Соня работала почтальоном. Нолик отказывался отвечать, энергичная Нина ему совсем не нравилась, и в итоге виноватой оказалась Соня. Все это была забытая детская чушь, но с тех пор кличка Репчатая ассоциировалась у Сони с крайней степенью недоброжелательности.

— Все из-за тебя! — сказала Соня и впервые за прошедшие девять дней улыбнулась, глядя на хмурого, толстого, смешного Нолика.

Он давно стал для нее уже не другом детства, а родственником, младшим братиком, хотя был старше. Толстый, пьющий, балованный Нолик, без признаков мужественности, с нестабильным доходом и тяжкими амбициями несостоявшегося актера.

— Что — из-за меня? Я, между прочим, отменил на сегодня все озвучки по случаю твоего юбилея. Я рано встал, тащился к тебе в метель, через всю Москву.

— Мог бы просто позвонить.

— Ты трубку не берешь.

— Да? Правда? А почему?

— Слушай, может, тебе врача вызвать?

— Ха-ха, я сама врач.

— Ничего не ха-ха. Ты не врач, ты биолог. Тебе нужен этот, как его? Ухо-горло-нос.

— Иди на фиг. Лучше вымети ртуть из-под кровати, напой меня чаем, потом сбегай в аптеку и стань мне хотя бы на один день родной матерью.

Нолик с готовностью засуетился, проводил Соню в папину комнату, уложил на тахту, накрыл пледом, ушел выметать ртуть.

Портфель оказался странно легким, как будто внутри почти ничего не было. Соня поставила его на папин письменный стол и старалась не смотреть на него. Слишком сильно было искушение открыть прямо сейчас.

Недавно папа летал в Германию. Пробыл там двенадцать дней. Сказал, что летит в гости к своему бывшему аспиранту Резникову. Вернулся задумчивый, мрачный. Почти не разговаривал с Соней. И ни на секунду не расставался с этим портфелем. Он купил его там, в Германии.

— Дай посмотреть, — просила Соня.

У нее была слабость ко всяким сумкам и портфелям. Она уже заметила, что на папином портфеле есть боковые кольца для наплечного ремня. У Сони на плече эта элегантная дорогая вещица смотрелась бы очень стильно.

Он не дал. Почему-то разозлился и сказал, что она обязательно сломает замок или оторвет ручку. Он, кажется, даже под подушку его клал на ночь.

Соня пыталась расспросить, в каких он побывал городах, что делал, что видел, как поживает Резников, но папа упорно молчал или ворчал на бытовые темы. Она, Соня, опять не помыла посуду, ходит в такой мороз с непокрытой головой, в ванной течет кран, в тахте что-то сломалось, она не раскладывается, и ему узко спать. Полгода не работает принтер. Нельзя смотреть кино, сломался дисковод.

— Сам все починишь, — огрызалась Соня, — ты же инженер, доктор технических наук.

Родители разошлись пять лет назад. Собственно, это был даже не развод, формально они до сих пор числились мужем и женой. Но мама уже пять лет жила в Австралии, ей там дали долгосрочный гранд в каком-то университете. Ни от Сони, ни от папы она не скрывала, что в Сиднее у нее есть близкий друг австралиец Роджер, вдовец, старый, старше папы. Соня имела счастье видеть его однажды. Он прилетал с мамой в Москву, знакомиться с Соней. Кривоногий, маленький, ниже мамы на голову, лысый, но с темными кудрявыми волосами в ноздрах и в ушах, он очень старался произвести на Соню хорошее впечатление, по-

стоянно ей подмигивал. Потом мама объяснила, что от волнения у бедняги Роджера случился нервный тик.

Чтобы взять портфель, надо было слезть с тахты, пройти два шага до стола. Круглые блестящие замочки, конечно, заперты. Но Соня знала, где ключи. Она нашла их в парадном темно-сером папином костюме, когда переодевала его для похорон. Колечко с двумя маленькими ключами было аккуратно приколото к подкладке внутреннего пиджачного кармана английской булавкой.

— Кстати, насчет родной матери, — пробасил Нолик, появившись на пороге в старом фартуке с божьими коровками. — Ты не забыла, что Вера Сергеевна послезавтра прилетает? Она звонила мне, просила тебе напомнить, чтобы ты встретила ее на машине. Очень беспокоится, что ты не берешь трубку. Я на всякий случай записал рейс, время. А как же ты поедешь в Домодедово такая больная?

— Ничего. Выпью побольше таблеток, посажу тебя рядом в качестве дополнительной печки. Когда рейс?

— Вроде ночью, в половине первого.

— Слушай, как там чай? Тепленького хочется. Горло болит ужасно.

— Да, я сейчас. Тебе сюда принести или пойдешь на кухню?

— На кухню. Здесь я пролью.

— Это уж точно, — хмыкнул Нолик, — ты бы на ноги что-нибудь надела. Нельзя при такой температуре босиком. Вечная твоя проблема.

— Что делать? — вздохнула Соня. — Мои тапочки не живут парами. Носки, впрочем, тоже. Найдешь что-нибудь парное — надену.

Нолик натянул на ее босые ноги папины шерстяные носки. Благо, у папы в комнате все лежало на своих местах, аккуратно, по ящикам. По дороге, в прихожей, она чуть не сшибла ведро с розами.

— Да, кстати, кто же принес эту красоту? — спросил Нолик.

— Понятия не имею.

— У тебя мобильник заливается, не слышишь?

— Это почта. Посади меня, прислони к стенке, возьми телефон и почитай, кто и как меня поздравляет. Потом перескажешь своими словами.

Нолик налил чаю ей и себе, уселся на табуретку с телефоном. Читал он долго и увлеченно, присвистывал, качал головой.

«Все бы ничего, — думала Соня, — шестьдесят семь лет это, конечно, не юность, и даже уже не зрелость. Но и не глубокая старость».

На сердце папа не жаловался. Более здорового и крепкого человека, чем он, она не знала. Он не пил спиртного, никогда не курил, не ел жирного и сладкого, каждое утро делал зарядку перед открытым окном. И с нервами у него было все в порядке. Откуда вдруг это — острая сердечная недостаточность? И с кем он был в тот вечер в одном из самых дорогих и снобских московских ресторанов? Он терпеть не мог рестораны, тем более такие пафосные. Почему если его пригласили, то не отвезли домой? Он позвонил в половине одиннадцатого вечера, попросил его забрать, назвал адрес. Когда она подъехала, он сидел на лавочке в сквере, обняв этот свой портфель. Лавка была вся в снегу, он сидел на спинке, похож был на снеговика, даже в бровях сверкали снежинки. Соня спросила: что случилось? Он сказал: ничего. Только потом, когда сели в машину и проехали мимо ресторана, он сказал, что ужинал там сегодня. Пообещал завтра все рассказать. Дома пожаловался на слабость. Лег спать. А утром уже не дышал и был холодный. Соня вызвала «скорую», они сказали, он умер около часа ночи.

— Кто такой И.З.? — спросил Нолик, оторвавшись наконец от чтения Сониной почты в телефоне.

— А? — встрепелась Соня. — И.З. — это тот, кто прислал розы. Кстати, где твой подарок?

— Да погоди ты. Послушай. *«Софи, почему не берешь трубку? Мы волнуемся!»; «Твоя свинка с миомой сдохла. Отзовись!»; «Ты просила срочно результат биопсии, все готово, а тебя нет!»; «Софи, твою статью приняли, просят доработать!»; «У тебя скоро день рожденья? Круглая дата? Прости, забыл, какого числа. Напиши, я поздравлю!»; «Софи, ты заболела? Подойди к телефону!»*

А, ну это я писал. «Уважаемая Софья Дмитриевна! Поздравляю! И.З.». «Софья Дмитриевна, с вами все в порядке? Как вы себя чувствуете? И.З.»

Нолик глотнул чаю, уставился на Соню.

— Вот. Это пришло только что. Слушай, Репчатая, кто такой И.З.?

Соня хотела обругать его за Репчатую, но закашлялась.

— Это он прислал розы? — Нолик достал сигареты и нервно закурил.

— Вероятно, да.

— Откуда он взялся?

— Понятия не имею. Кто-нибудь из института.

Она говорила сквозь тяжелые приступы кашля. Нолик так завелся, что не замечал этого.

— Ерунда! В твоём нищем НИИ нет никого, кто мог бы раскошелиться на такой букет. Может, у тебя зреет серьезный роман?

— Вполне возможно, — вяло улыбнулась Соня, справившись с кашлем.

— Но ты его знаешь? Ты с ним встречалась, с этим И.З.?

— Нет, Нолик, нет. Сколько раз повторять?

— Но как же? Это жутко дорого, Софи, это не просто так, от доброго дяди.

— Мне не оставили адреса, по которому их можно вернуть. Ты обещал сходить в аптеку, у меня кончились все жаропонижающие, и еще, мне нужны капли для уха.

— И ты не попытаешься узнать? Выяснить?

— Как?

— Ответь ему, спроси, кто он?

— Да. Обязательно. Только не сейчас.

— Почему?

— Потому что у меня умер папа, и я болею, и мне все по фигу.

Минуту Нолик хмуро молчал, курил, потом вздохнул и произнес уже спокойнее:

— Надо хотя бы поблагодарить. Ты всегда была воспитанным человеком, Софи.

— Хватит. — Соня прижалась затылком к стене и закрыла глаза. — Знаешь, папин аспирант, Резников, был на похоронах.

— Знаю. Он помогал нести гроб. Лысый такой, с бородкой. И что?

— Он сказал, что не приглашал папу в Германию. Он давно живет в Москве.

— Погоди, при чем здесь Резников?

— Папа уверял меня, что летит в Германию к нему. Папа никогда не врал.

— Ну, а может, это что-то — ну... личное? Почему бы нет? У мамы бойфренд в Сиднее, папа завел себе кого-нибудь в Берлине.

— В Гамбурге. Нет, Нолик. Как раз об этом он бы мне рассказал. Слушай, я сейчас совсем никакая. Сходи, пожалуйста, в аптеку. В прихожей моя сумка, там деньги.

Когда Нолик ушел, Соня еще несколько минут просидела на кухне, прислонившись затылком к холодной кафельной стенке и закрыв глаза. Ей хотелось, чтобы опять появился папа. Она знала, что сейчас встанет, пойдет в его комнату, откроет портфель, и бредовая мысль о том, что нельзя этого делать без его разрешения, не давала покоя.

По дороге она присела на корточки, уткнулась лицом в розы. Кто бы ни был этот неизвестный И.З., спасибо ему. На самом деле ей впервые в жизни подарили такой букет. Если бы не смерть папы и не воспаление среднего уха, она наверняка бы ужасно обрадовалась и была бы польщена.

С трудом доковыляв до папиной комнаты, она взяла портфель в руки, чувствуя себя почти воровкой. Может, Нолик прав и у папы в Гамбурге появилась подружка? Недаром он не хотел, чтобы Соня провожала его в аэропорт.

Наверное, они познакомились здесь, в Москве. Еще за пару месяцев до отлета в Германию он вел себя странно, возвращался поздно. Соне просто в голову не приходило, что ее пожилой домашний папочка может иметь какую-то свою тайную личную жизнь.

Она знала: заседания кафедры и ученые советы никогда не заканчиваются за полночь. Как многие его коллеги-преподавате-

ли, папа подрабатывал, готовил абитуриентов к экзаменам. Мальчики и девочки обычно приезжали сюда, папа занимался с ними в своей комнате. Сам никогда к ним не ездил. Но в последние два месяца кафедра и ученый совет стали заседать до часа ночи, и почему-то вдруг большая часть занятий с абитуриентами переместилась неизвестно куда.

Соня ясно представила себе элегантную пожилую фрау, научную даму, с аккуратной сединой и очаровательной фарфоровой улыбкой.

Между тем портфель был открыт. Ничего, кроме плотного небольшого конверта, Соня там не нашла. В конверте фотографии, черно-белые, очень старые.

Девушка и юноша. Ей лет восемнадцать, ему не больше двадцати пяти. Снимок сделан в помещении, вероятно в фотоателье. Они сидят и смотрят в объектив, но кажется, будто видят только друг друга. Он темноволосый, крупные уши слегка оттопырены, лицо узкое, прямой нос, тонкие губы. У нее толстая светлая коса перекинута через плечо, большие темные глаза. Она выглядит растерянной и ужасно беззащитной.

Маленький желто-серый прямоугольник узорчато обрезан по краям. На обратной стороне простым карандашом едва заметно написаны четыре цифры: 1939. Соня не сразу сообразила, что это просто год.

Следующий снимок — та же пара, но уже на улице. Нельзя понять, где именно. Видны только голые ветки деревьев. Юноша и девушка стоят рядом. Она в пальто, в шляпке. Он в шинели и в фуражке, надвинутой до бровей. Он держит в руках продолговатый сверток. Вглядевшись, Соня поняла, что это младенец, завернутый в одеяло. Даты с обратной стороны снимка не было.

На других, еще более старых фотографиях Соня увидела каких-то офицеров, барышень, подростка-гимназиста в кителе и фуражке, мрачного молодого человека в косоворотке. Групповой снимок во дворе военного госпиталя. Много народу. Раненые солдаты, медсестры, врачи. Лица слишком мелкие, не разглядеть. Нестарый, но седой господин в белом халате в том же госпитальном дворе,

один, сидит на лавке, курит. Барышня, мелькавшая на других снимках, но теперь в форме госпитальной сестры. Она же рядом с седым господином. Она же, в блузке с высоким воротом и брошкой у горла, с офицером средних лет. Опять седой, один, за столом в кабинете.

Соня зажмурилась и помотала головой. Потом еще раз взглянула на последний снимок. Встала, включила верхний свет, настольную лампу и бра. Бросилась в свою комнату, вернулась, едва удерживая в руках толстенный том, «История российской медицины. Энциклопедия». Принялась быстро листать страницы, наконец, нашла, что искала. На вкладыше, среди портретов великих врачей, точно такой же снимок, только более крупный и четкий.

Интерьер обрзан, взято лишь лицо. Седой господин. Свешников Михаил Владимирович. Профессор медицинского факультета Московского университета, действительный член Физико-медицинского общества. Генерал царской армии. Военный хирург. Автор выдающихся трудов по медицине и биологии, внес значительный вклад в изучение вопросов кроветворения и регенерации тканей. Родился в Москве в 1863 году. Когда и где умер — неизвестно.

* * *

Москва, 2006

Спортивный «Лаллет» цвета ртути, плоский, как летающая тарелка, мчался по Ленинскому проспекту на невозможной для Москвы скорости. Был вечер, мела метель. Из машины звучал Моцарт в современной обработке. За рулем сидел пожилой лысый мужчина. На заднем сиденье, свернувшись калачиком, спала девушка. Ей было не больше двадцати. Даже во сне она продолжала жевать жвачку.

Странным образом исчезли с проспекта патрули ГИБДД. Все прочие машины уступали «Лаллету» дорогу, хотя в Москве водители редко пропускают даже пожарников и «скорую». «Лаллет»

летел, не касаясь мостовой новенькими покрывками, стрелка спидометра показывала 120. У площади Гагарина скопилась пробка, и неизвестно, чем мог бы закончиться этот волшебный полет, но, не доезжая площади, «Лаллет» свернул на тихую улицу и сбавил скорость.

— Машка, просыпайся, приехали! — сказал мужчина и сделал музыку громче.

— Я Жанна, — пробормотала девушка, не открывая глаз.

— Извини, солнышко.

— Мгм, — девушка села, помахала накладными ресницами, достала из сумочки пудреницу.

Французский ресторан «Жетэм» был построен лет пять назад в глубине большого двора, на месте двух снесенных панелек. Трехэтажная вилла в стиле европейского модерна конца XIX века вмещала два обеденных зала, один банкетный, с эстрадой для живого оркестра, три отдельных кабинета, бар с громадными бархатными диванами. Шеф-повар был француз. Швейцары и несколько официантов — чернокожие. От улицы к подъезду вела галерея, увитая гирляндами разноцветных лампочек и застеленная ковровой дорожкой.

«Лаллет» остановился, и тут же, прямо на улице, к нему бросились операторы с камерами, журналисты с микрофонами.

— Надо же, Моцарт! Раньше он ездил под блатной шансон, — шепотом заметила корреспондентка тонкого глянцевого журнала, сорокалетняя крупная дама с двумя детскими косичками и с дюжиной сережек в каждом ухе.

— Кто это приехал? — спросил ее фотограф.

— Кольт. Петр Борисович Кольт. — Журналистка ловко протиснулась между коллегами и протащила за собой за руку нерасторопного фотографа.

Маленький полный мужчина вылез из машины. Ветхие джинсы сваливались с него. Серый пиджак в елочку был измят, как будто его пожевала корова. Под пиджаком футболка с надписью по-английски: «Бог любит всех, даже меня». Корреспондентка с косичками толкнула локтем своего нерасторопного фотографа и прошептала:

— Ноги! Ногиними!

На ногах у Кольта были грязные оранжевые кеды.

Кольт зевнул, потянулся, сморщился от фотовспышек.

— Петр Борисович, здравствуйте! Журнал «Джокер». Что вы думаете о сегодняшнем мероприятии?

— Господин Кольт! В чем секрет успешного бизнеса?

— Петр, скажите, правда ли, что вы купили футбольную команду Берега Слоновой Кости за десять миллионов евро?

Сыпались вопросы, стреляли вспышки, микрофоны отталкивали друг друга. Кольт почесал толстый мягкий живот, оглядел журналистов с доброй улыбкой и произнес басом:

— Все суета сует.

Затем, повернувшись спиной к публике, открыл заднюю дверь цу своего «Лаллета» и вытянул оттуда за руку сонную жующую девушку.

Светлые прямые волосы падали на лицо, она сдувала их, выпятив нижнюю губу. Когда она распрямилась, стало видно, что круглая голова Кольта едва доходит ей до плеча. На девушке была короткая дутая куртка цвета хаки. Желтые шелковые брюки, скроенные таким образом, что спереди открывалась солидная часть живота, а сзади виднелась впадина между ягодицами.

Снимать девушку журналисты не стали, отхлынули от Кольта. Пара, трогательно взявшись за руки, проследовала к подъезду. Журналистка с косичками успела придумать первые несколько фраз заметки о том, что дистрофическая худоба наконец вышла из моды и теперь актуальны пышные формы. Стиль «антигламур» все настойчивей завоевывает позиции. Старые, мятые, нарочито дешевые и некрасивые вещи, как будто купленные на барахолке, сегодня считаются особым шиком в высоком тусе.

Корреспондентка подумала, стоит ли в статье объяснять значение слова «тус», и решила: не стоит. Читательницы модного глянца — люди образованные. Они обязаны знать, что «тус» сегодня говорят вместо надоевшего слова «тусовка».

Охранник сел в «Лаллет» и отогнал его на ресторанный столик, чтобы освободить место для черного квадратного джипа, который привез популярного телеведущего с женой.

В просторном ресторанном фойе были накрыты длинные столы для фуршета. Горы фруктов, французские сыры, не меньше пятидесяти сортов, обложенные гроздьями винограда, овальные фарфоровые блюда с ломтиками розовой и белой рыбы, холодное мясо животных, от банальной свинины до экзотической медвежатины. Жареная и заливная птица, от курицы до страуса. Шампанское в ледяных ведерках, красная икра в высоких серебряных вазах. Вначале была и черная, но ее сразу съели.

Согласно дресс-коду, обозначенному в пригласительных билетах, мужчины были в строгих костюмах, в сюртуках и смокингах, дамы — в вечерних платьях. Публика весьма солидная: банкиры, политики, владельцы журналов, газет, телеканалов. Пока мало кто отважился явиться в остро модных барахольных тряпках на столь серьезное мероприятие.

Минут через тридцать должно было начаться торжественное действо — вручение премий за успехи в медиа-бизнесе.

Премии сами по себе ничего не стоили. Каждый награждаемый получал бронзовую статуэтку, то ли птичку, то ли рыбку, букет цветов и порцию аплодисментов. Но факт присутствия на церемонии, пригласительный билет в конверте из розовой шелковистой бумаги, черный, с золотыми буквами, стоил дорого. Посторонние, случайные люди сюда проникнуть не могли никак.

Гости теснились у столов, с тарелками и бокалами пробирались сквозь суету, стараясь никого не задеть, ничего не уронить и не пролить, что было непросто, ибо толпа густела с каждой минутой.

Появление Кольта вызвало легкий ажиотаж, но не потому, что Петр Борисович был владельцем ресторана и оплачивал мероприятие, и ни в коем случае не из-за его обвислых джинсов и мятого пиджака, и даже не из-за большой оголенной попы девушки Жанны. Ажиотаж случился просто потому, что Петр Борисович слишком резко вклинился в толпу, кого-то задел, кому-то наступил на ногу. Извиниться он не мог, так как разговаривал по телефону. Девушка Жанна тоже не извинялась, так как вообще никогда этого не делала.

— Где ты? Я тебя не вижу. Здесь народу тьма! — громко басил Кольт в трубку. — Ладно, стой, где стоишь, и не отключайся!

Человек, к которому стремился Петр Борисович, не стоял, а сидел. Он приехал давно, успел занять удобное место в углу, у рояля. Он курил, раскинувшись на диване, слушал отличные джазовые импровизации ресторанный пианиста и с любопытством разглядывал публику.

На вид ему было не больше сорока пяти. С первого взгляда он казался некрасивым, даже неприятным. Крупное смуглое лицо с широкими скулами и вздернутым носом, жидкие тусклые волосы неопределенного цвета, тяжелый подбородок, выпуклые бледные губы. Но у него были яркие голубые глаза, высокий чистый лоб и чудесная улыбка. Этой своей улыбкой он одарил девушку Жанну, которая, впрочем, никак не отреагировала, а продолжала жевать жвачку.

— Иди там, покушай, потусуйся, — сказал Жанне Петр Борисович и уселся на диван.

— Ну что, как? — спросил он нетерпеливым шепотом, когда девушка удалилась.

— Пока никак.

— Что значит — никак? Я же сказал — любые деньги. Любые! Ты объяснил ему?

— Я объяснил. Он согласился.

— Ну?! — Желтые маленькие глаза Кольта заблестели, он шлепнул собеседника по коленке. — Сколько в итоге?

— Уже не важно.

— Что значит — не важно?

— Он умер.

— Кто?! — крикнул Кольт так громко, что на них стали обращиваться.

— Ш-ш-ш... — Смуглый вытянул губы и покачал головой. — Нет, с ним все в порядке, он никуда не денется, не волнуйтесь. Умер Лукьянов.

— А-а, — Кольт облегченно вздохнул, но тут же нахмурился, — погоди, а чего это вдруг? Он вроде не такой старый, и ты говорил, он здоровый мужик. Ему шестьдесят пять, как мне.

— Шестьдесят семь. Острая сердечная недостаточность.

— И чего дальше?

- Дальше будем работать.
- С кем? — тревожно спросил Кольт.
- С ней, — смуглый мягко улыбнулся.

Они так увлеклись беседой, что не заметили быстрого движения толпы к банкетному залу. Через опустевшее фойе к ним прибежал высокий рекламный красавец брюнет в белом смокинге и, смущаясь, переминаясь с ноги на ногу, сказал:

— Петр Борисович, Иван Анатольевич, извините, пожалуйста, там все ждут, вас просят, пора начинать.

— Да, идем. Уже идем, — ответил Кольт.

Прежде чем подняться на эстраду и оставить Ивана Анатольевича в первом ряду, Кольт стиснул его руку и прошептал на ухо:

— А вдруг она тоже возьмет и умрет? Сколько ей лет?

— Всего лишь тридцать, как раз сегодня исполнилось.

На лице Ивана Анатольевича опять засияла мягкая, ласковая, совершенно неотразимая улыбка.

Глава вторая

Москва, 1916

25 января были именины Тани. Ей исполнилось восемнадцать лет. Михаил Владимирович жил замкнуто, приемов терпеть не мог, сам в гости почти не ходил и к себе звал редко. Но по Таниной просьбе этот день стал исключением.

— Хочу настоящий праздник, — сказала накануне Таня, — чтобы много народу, музыка, танцы, и никаких разговоров о войне.

— Зачем тебе это? — удивился Михаил Владимирович. — Полный дом чужих людей, сутолока, шум. Вот увидишь, уже через час у тебя разболится голова и ты захочешь всех их послать к черту.

— Папа людей не любит, — ехидно заметил Володя, старший сын Свешникова, — его издевательства над лягушками, крысами и дождевыми червями — это сублимация, по доктору Фрейд.

— Спасибо на добром слове. — Михаил Владимирович слегка склонил стриженную бобриком крупную седую голову. — Венский шарлатан тебе аплодирует.

— Зигмунд Фрейд — великий человек. Двадцатый век станет веком психоанализа, а вовсе не клеточной теории Свешникова.

Михаил Владимирович хмыкнул, цокнул ложкой по яйцу и проворчал:

— Безусловно, у психоанализа великое будущее. Тысячи жуликов еще сделают на этой пошлости недурные деньги.

— И тысячи романтических неудачников будут скрежетать зубами от зависти, — зло улыбнулся Володя и принялся катать шарик из хлебного мякиша.

— Лучше быть романтическим неудачником, чем жуликом, а уж тем более — модным мифотворцем. Эти твои умные друзья,

Ницше, Фрейд, Ломброзо, толкуют человека с такой брезгливостью и презрением, будто сами принадлежат к иному виду.

— Ну, началось! — двенадцатилетний Андрюша закатил глаза, скривил губы, выражая крайнюю степень скуки и усталости.

— Был бы счастлив иметь их в друзьях! — Володя кинул в рот хлебный шарик. — Любой злодей и циник в сто раз интересней сентиментального зануды.

Михаил Владимирович хотел что-то возразить, но не стал. Таня поцеловала отца в щеку, шепнула:

— Папочка, не поддавайся на провокации, — и вышла из гостиной.

Оставшиеся три дня до именин каждый продолжал жить сам по себе. Володя исчезал рано утром и возвращался иногда тоже утром. Ему было двадцать три. Он учился на философском факультете, писал стихи, посещал кружки и общества, был влюблен в литературную даму старше него на десять лет, разведенную, известную под именем Рената.

Андрюша и Таня ходили в свои гимназии. Таня, как обещала, успела сводить брата в художественный театр на «Синюю птицу», Михаил Владимирович дежурил в военном лазарете Святого Пантелеимона на Пречистенке, читал лекции в университете и на женских курсах, вечерами закрывался в лаборатории, до глубокой ночи работал и никого к себе не пускал. Когда Таня спрашивала, как поживает крыс Григорий Третий, профессор отвечал: «Отлично». Больше она не могла вытянуть из него ни слова.

Утром 25-го за завтраком Михаил Владимирович произнес короткую речь:

— Ты теперь совсем взрослая, Танечка. Это грустно. Тем более грустно, что мама не дожидала до этого дня. Маленькой ты уже никогда не будешь. Сколько всего ждет тебя яркого, захватывающего, какой огромный и счастливый кусок жизни впереди. И все в этом новом, удивительном и странном двадцатом веке. Я хочу, чтобы ты стала врачом, не пряталась от практической медицины в отвлеченную науку, как я, а помогала людям, облегчала страдания, спасала, утешала. Но не дай профессии съесть все остальное. Не повторяй моих ошибок. Юность, молодость, любовь...

На последнем слове он закашлялся, покраснел. Андрюша хлопнул его по спине. Таня вдруг засмеялась, ни с того ни с сего.

Весь этот день, двадцать пятое января тысяча девятьсот шестнадцатого года, она смеялась как сумасшедшая. Отец вдел ей в уши маленькие бриллиантовые сережки, именно те, на которые она давно заглядывалась в витрине ювелирной лавки Володарского на Кузнецком. Старший брат Володя преподнес томик стихов Северянина и вместо поздравления зло паясничал, как всегда. Андрюша нарисовал акварельный натюрморт. Осенний лес, пруд, подернутый ряской, усыпанный желтыми листьями.

— У барышни, сестрицы вашей, самый весенний возраст, а вы все увядание рисуете, — заметил доктор Агапкин Федор Федорович, папин ассистент.

Таню он раздражал. Это был пошло красивый мужчина с прилизанными каштановыми волосами, девичьими ресницами и толстыми томными веками. На именины она его не приглашала, он сам явился прямо с утра, на завтрак, и преподнес имениннице набор для вышивания. Рукоделием Таня никогда в жизни не занималась и вручила подарок Агапкина горничной Марине.

Более всех растрогала и насмешила Таню нянька Авдотья. Старая, из дедовских крепостных, почти глухая, сморщенная, она жила в доме на правах родственницы. На день ангела она, как в прошлом году, как и в позапрошлом, преподнесла Тани все ту же куклу, Луизу Генриховну.

Кукла эта многие годы была предметом борьбы и интриг с нянькой. Она сидела на комодке в нянькиной комнате, без всякой пользы. Зеленое бархатное платье с кружевами, белые чулки, замшевые ботинки с изумрудными пуговками, шляпка с вуалеткой. Когда Таня была маленькой, нянька только изредка, по праздникам, позволяла ей прикоснуться к розовой фарфоровой щеке, потрогать тугие русые локоны Луизы Генриховны.

Лет тридцать назад няня выиграла куклу на детском рождественском утреннике в Малом театре для тети Наташи, папиной младшей сестры. Наточка, нянина любимица, была девочка аккуратная, тихая, в отличие от Тани. На Луизу Генриховну она только смотрела.

Таня поцеловала няньку, усадила куклу на каминную полку и забыла о ней, вероятно, до следующего года.

Вечером к дому на Ямской подъезжали извозчики. Нарядные дамы и господа с цветами, с подарочными коробками ныряли в подъезд, поднимались в зеркальном лифте на четвертый этаж.

Университетские профессора с женами, врачи из госпиталя, адвокат Брянцев, сдобный золотисто-розовый блондин, похожий на постаревшего херувима с полотен Рубенса. Аптекарь Кадочников, в своих вечных валенках, которые носил круглый год из-за болезни суставов, но в штанах с лампасами, в сюртуке и в крахмальном белье по случаю именин. Танины подружки-гимназистки, дама-драматург Любовь Жарская, старая приятельница Михаила Владимировича, высокая, страшно худая, со взбитой рыжей челкой до бровей и вечной папироской в уголке пунцового тонкого рта. Несколько сумрачных надменных студентов-философов, приятелей Володи, наконец, его любовь, загадочная Рената, с голубоватым от пудры лицом и глазами в траурных овальных рамках.

Вся эта разношерстная публика крутилась в гостиной, смеялась, язвила, сплетничала, пила лимонад и дорогой французский портвейн, наполняла пепельницы окурками и мандариновыми корками.

— В Доме поэтов литературный вечер, будут Бальмонт, Блок. Пойдешь? — спросила Таню шепотом ее одноклассница Зоя Велс, коренастая застенчивая барышня. Лицо ее было сплошь усыпано веснушками. Огромные голубые глаза выглядели как куски чистого неба среди темной унылой ряби облаков.

— Зоенька, вы нам стихи читаете сегодня? — спросил интимным басом студент Потапов, Володин приятель, оказавшийся рядом.

Таня уловила издевательские нотки, а Зоя — нет. Зоя в Потапова была влюблена, впрочем, в Володю тоже. Она влюблялась во всех молодых людей одновременно и пребывала в постоянном горячечном поиске мужского внимания. Ее отец, очень богатый скотопромышленник, владелец скотобоен, мыльных и колбасных фабрик, собирался выдать ее замуж за дельного человека, она же хотела роковой любви и писала стихи с кокаином, бензином, Арлекином и револьвером у бледного девичьего виска.

— Да, если вы настаиваете, — ответила Зоя Потапову и покраснела так, что веснушки почти исчезли.

— О, я настаиваю! — томно простонал Потапов.

— Мы все настаиваем! — поддержал игру Володя. — Зачем нам Бальмонт и Блок, когда есть вы, Зоенька?

— Богиня! — Потапов поцеловал ей ручку.

— Вот что! — развеселился Володя. — Мы устроим мелодекламацию. Таня поиграет, а вы, Зоенька, будете читать стихи под фортепиано, нараспев.

— Прекрати, это подло! — шепнула Таня брату и больно ущипнула его за ухо.

Рената, одиноко курившая в кресле в другом конце гостиной, вдруг разразилась русалочьим смехом, таким громким, что все замолчали, уставились на нее. Она тоже замолчала, так и не объяснив, что ее рассмешило.

— Ну, довольна? Весело тебе? — спросил профессор, мимоходом чмокнув дочь в щеку.

— Разумеется! — прошептала Таня.

За ужином заговорили о Распутине. Дама-драматург просила адвоката Брянцева рассказать о безносой крестьянке, покушавшейся пару лет назад на жизнь царского колдуна. В сибирском селе Покровском, на родине Григория, крестьянка Хиония Гусева ударила его кинжалом в живот, когда он выходил из церкви после утренней службы. Газеты сходили с ума. Журналисты изощрялись в сочинении самых невероятных версий. Царский колдун выжил. Гусеву признали невменяемой и поместили в лечебницу для душевнобольных в Томске.

— Если бы дошло до суда, именно вы, Роман Игнатьевич, стали бы ее защитником, — произнесла дама-драматург, аккуратно отрезая кусочек от индюшачьего филе.

— Ни в коем случае. — Адвокат нахмурился и покачал кудрявой белокурой головой. — Когда еще вопрос о судебном процессе оставался открытым, я категорически отказался.

— Почему? — спросил Володя.

— Предпочитаю не участвовать в фарсах. Они приносят быструю славу, иногда неплохие деньги, но дурно влияют на репу-

тацию. Вот если бы эта Гусева ударила в сердце и убила бы его, я бы с удовольствием ее защищал и сумел бы доказать, что она своим мужественным поступком спасла Россию.

— А что у нее было с носом? — выпалила Зоя Велс и опять густо покраснела.

— Сифилис, вероятно, — пожал плечами адвокат, — хотя она уверяла, что никогда не страдала этой постыдной болезнью, и вообще девица.

— Но она сумасшедшая или все-таки нет? — спросил доктор Агапкин.

— Я бы не назвал ее душевно здоровым человеком, — ответил адвокат.

— А Распутин? Вы видели его близко. Он кто, по-вашему? Безумец или хладнокровный мошенник? — не унимался Агапкин.

— Я видел его только однажды, случайно в Яре. Он там устроил непристойный пьяный шабаш с цыганами. — Адвокату явно наскучила эта тема, ему хотелось наконец заняться заливной севрюгой.

— Почему все-таки этот грязный сибирский мужик занимает такое огромное место и в политике, и в головах, и в душах? — задумчиво произнесла Жарская.

— А вы напишите о нем пьесу, — предложил Володя, — между прочим, Таня назвала в его честь одну из папиных лабораторных крыс.

— Ту самую, которую удалось омолодить? — спросила Рената.

Если не считать внезапного взрыва хохота, она впервые за вечер подала голос. Голос оказался высоким и резким.

Профессор повернулся к ней всем корпусом, держа в руке вилку с наколотым куском лосося, потом посмотрел на Володю. Агапкин прижал к губам салфетку и принялся громко кашлять.

— Господа, давайте выпьем за здоровье именинницы, — предложил аптекарь Кадочников.

— Ваша горничная Клавдия — двоюродная сестра моей портнихи, — спокойно пояснила Рената, после того как все чокнулись и выпили за Танино здоровье.

Стало тихо. Все смотрели на профессора, кто с сочувствием, кто с любопытством. Таня, сидевшая рядом с отцом, сильно жала под столом его коленку.

— Умоляю, Миша, не отрицай, не говори, что горничная все придумала или напугала. Я знаю, это правда, потому что ты гений! — быстро, на одном дыхании произнесла Жарская. — Как, как тебе это удалось?

Михаил Владимирович отправил в рот кусок лососины, прожевал, промокнул губы салфеткой и заговорил:

— Пару месяцев назад наш сосед сверху господин Бубликов проводил свой очередной спиритический сеанс. На этот раз гостем его должен был стать дух графа Сен-Жермена. Я, разумеется, не знал этого, я сидел в лаборатории. Хлопнула форточка, закрипели половицы. Он был удивительно элегантен и мил, несмотря на свою прозрачность. Он любезно представился. Я сказал ему, что он, вероятно, ошибся адресом и ему надо этажом выше. Он ответил, что у Бубликова скучно, заинтересовался моим микроскопом, принялся расспрашивать о новшествах в медицине. Мы поговорили до рассвета. Исчезая, он оставил мне на память небольшой флакон и сказал, что это его знаменитый эликсир. Я имел смелость возразить: почему же тогда я беседую с прозрачным призраком, а не с живым человеком? Он ответил, что давно научился переходить из одного состояния в другое и обратно посредством трансмутации, примерно так же, как вода становится под воздействием температуры льдом или паром. В газообразном состоянии перемещаться в пространстве значительно удобнее. Я был так потрясен и измотан бессонной ночью, что незаметно уснул прямо за столом, в лаборатории. Проспал часа два, проснувшись, увидел старинный флакон, все вспомнил, но не поверил самому себе, решил, что это был сон. Содержимое флакона я вылил в лоток, из которого пьет крыса. Ну, а дальше произошло то, о чем поведала наша горничная портнихе этой очаровательной дамы.

Опять повисла пауза. Потапов беззвучно захлопал в ладоши. Старый аптекарь чихнул и извинился.

— Все? — громким шепотом спросила Зоя Велс. — Вы вылили в крысиный лоток из этого флакона все, до капельки?

Соня не услышала, как вернулся Нолик. Он догадался прихватить ключи и вошел очень тихо. Она вздрогнула и чуть не заорала от страха, когда он появился в комнате. Фотографии были разложены на столе. Рядом стоял открытый портфель. Нолик подошел и тут же ткнул пальцем в фотографию молодой пары, датированную тридцать девятым годом.

— Кого она мне напоминает? Не знаешь?

— Кто?

— Девочка. Вот эта, с косой.

Нолик прищурился, поднес снимок к глазам.

— Ты лекарства купил? — спросила Соня.

— Да, конечно. Вот. — Он положил на стол аптечный пакет. — Кстати, там градусник. Будь добра, измерь температуру. Господи, где я мог ее видеть?

— Нигде. Это тридцать девятый год. — Соня сунула градусник под мышку.

— А... — Нолик звонко хлопнул себя по лбу. — Софи, я болван! Подожди, я сейчас!

Он вылетел в прихожую, тут же вернулся и вручил Соне маленький сверток. Там были духи. Соня распечатала коробочку, открыла флакон, понюхала, улыбнулась.

— Погоди, еще не все! — Нолик помахал у нее перед носом бумажным прямоугольником. — Вот это посильней любых духов и даже роз от неизвестного И.З.!

— Что это?

— А ты прочитай!

Соня взяла у него визитку.

— «Кулик Валерий Павлович». Кто это?

— Вот бабда! Твой бывший преподаватель! Профессор с твоего биофака! Ну? Вспомнила? Слушай, Софи, ты в состоянии воспринимать важную позитивную информацию? Это же класс! Это супер! Позавчера он выступал у нас на канале. Мы столкнулись в курилке. Он смотрит на меня, я на него. Он спрашивает:

«Где мы с вами встречались?» И я, главное дело, хлопаю глазами, тоже вспомнить не могу. Он первый вспомнил. На твоём выпускном вечере в универе, ты нас познакомила. Так вот, он стал сразу расспрашивать о тебе, как живешь, где работаешь. Сказал, что хотел тебя разыскать, ты ему очень нужна.

— Разыскать несложно, — тихо заметила Соня, не открывая глаз, — в учебной части остались все координаты, адрес, телефон.

— У него все есть, но ты почти неделю не берешь трубку, и он подумал, вдруг ты переехала или телефон изменился. Но тут как раз встретил меня. Это судьба, Софи! Ты прочитай, что написано на визитке.

— Biology tomorrow, — прочитала вслух Соня, — Международная неправительственная ассоциация «Фонд научных инициатив». Институт экспериментальных биотехнологий. Исполнительный директор Кулик Валерий Павлович.

— Позвони ему срочно, прямо сегодня! Видишь, он написал номер мобильного ручкой. Он хочет предложить тебе работу. Софи, это совсем другие деньги, другие перспективы. Я жутко рад за тебя!

— Полгода назад я отправляла туда свое резюме, — сказала Соня, — они мне отказали.

Лицо Нолика слегка вытянулось.

— Ну... Все течет, все изменяется, — произнес он глубокомысленно, — во всяком случае, сейчас тебя там ждут.

Соня вытащила градусник. Тридцать девять и пять.

— Хочешь, я останусь ночевать? — спросил Нолик. — У меня завтра утром озвучка, это часа на три, наверное. Я съезжу и сразу вернусь. Хочешь? Я могу остаться до приезда твоей мамы и встретить ее на такси. Только у меня денег нет. Заплатят в конце месяца.

— Я сама ее встречу, я очухаюсь к завтрашнему вечеру. А ты оставайся. Иначе зачем было тратиться на градусник?

— То есть?

— Ну он ведь нужен, чтобы кто-нибудь ахнул, увидев, какая у человека высокая температура. А если человек болеет в одиночестве, то ахать некому. Возьми водку в морозилке, разбавь водой,

смочи полотенце и положи мне на лоб. Только не пей ее, ладно? Будешь пить, выгоню.

У Сони заплетался язык. Нолик довел ее до тахты, ушел на кухню. Соня подумала, что температура подскочила у нее не от болезни, а от волнения.

«Биология завтра» — голубая мечта любого ученого, особенно молодого специалиста, но пробиться туда страшно трудно, даже если владеешь английским и немецким, имеешь кандидатскую степень и знаешь совершенно точно, что биология твое призвание, с детства на всю жизнь.

В первом классе, собирая осенний гербарий, Соня заметила, что только живые деревья сбрасывают листья, а мертвые — нет. На мертвых ветках листья могут висеть всю зиму, бурые, скорченные.

— Это нелогично, — сказала она папе, — осенние листья на живых деревьях, красные, желтые, должны держаться, они такие красивые, особенно под снегом.

— Закон природы, — равнодушно ответил папа.

Ответ Сою не устроил. Она приставала ко всем взрослым, которых считала более или менее разумными, и только один сумел кое-что объяснить.

— Поздравляю, — сказал папин друг Бим, Борис Иванович Мельник, биолог, — ты, Сонечка, мыслишь как Гален. Во втором веке нашей эры этот великий римский философ и врач тоже заинтересовался осенним листопадом и сделал вывод, что живые деревья сбрасывают листья нарочно, чтобы не сломались ветки под тяжестью снега. То есть в самом дереве заложена такая программа.

— Убивать свои собственные листья?

— Ну да. Именно. Есть даже специальный биологический термин: апоптоз, «листопад» по-гречески. Так поступают почти все живые существа. Головастик избавляется от хвоста и становится лягушонком. Маленький человечек, пока сидит в животе у мамы, сначала имеет множество дополнительных запчастей, например жабры, хвост, потом все ненужное отмирает.

— А он может раздумать? — спросила Соня.

— Кто?

— Ну человек. Вдруг он захочет оставить себе жабры или хвост, на всякий случай? Если он, допустим, потом решит заниматься подводным плаванием, ему все это очень пригодится.

— Ты имеешь в виду, есть ли у него выбор? Нет. Выбора нет.

— Почему?

Следующие десять лет Соня изводила Бима вопросами при всяком удобном и неудобном случае. Сразу после десятого класса она поступила в университет на биофак. В аспирантуре Бим, профессор Мельник, стал ее научным руководителем, взял к себе в лабораторию.

Соня занималась апоптозом, запрограммированной смертью, вернее, самоубийством живой клетки. Тема эта стала страшно модной в последние годы, поскольку была связана с проблемами старения и продления жизни.

Миллиарды клеток в любом живом организме ежеминутно умирают и рождаются, но с каждой минутой соотношение это едва заметно сдвигается в сторону смерти. Из всего живого на планете бессмертны только амебы, бактерии и раковые клетки. Они могут жить вечно. Они жрут и делятся, делятся и жрут.

«Значит, у них есть, чему поучиться», — сказал в одной из своих лекций, еще в 1909 году, профессор Михаил Владимирович Свешников.

В 2002-м трое ученых, два англичанина и американец, получили Нобелевскую премию за открытие генетически запрограммированной клеточной гибели. Они наблюдали под микроскопом, как рождается, живет и умирает глист нематода, существо длиной в миллиметр, и выделили гены, в которых запрограммирован суицид клетки. А потом доказали, что точно такие же гены есть в геноме человека и выполняют они те же функции. Открытие теоретически давало потрясающие перспективы в лечении СПИДа, рака, инфаркта миокарда. Многие биологи заговорили о возможности изменять геном человека, задавать программу добровольного суицида раковым клеткам, и наоборот, отключать программу, когда кончают с собой клетки тканей сердца при инфаркте. На исследования выделялись огромные деньги, находились добро-

вольцы, готовые все испытать на себе, открывались клиники, где малоизученные методы применялись в медицинской практике, Интернет, газеты, журналы пестрели рекламами универсальных генетических методов лечения всех человеческих недугов, включая старость и смерть.

На этом свихнулся Борис Иванович Мельник.

Бим в течение многих лет изучал ту же крошку нематоду, с той же целью, что два англичанина и американец, и самое обидное, пришел к тем же выводам, что и они, на год раньше. Но Бим работал в маленьком, нищем, Богом забытом НИИ гистологии, не имел ни оборудования, ни денег, получал копейки, бился головой о вечную стену тупости, трусости и жадности российских чиновников от науки. Чужая Нобелевская премия 2002 года его доконала. Он бросился давать интервью, кричать на всех углах, что работает над новыми способами продления жизни. Ему, доктору биологических наук, несложно было придумать вполне стройную теорию о том, что современная биология в обнимку с генетикой способна отменить старость и смерть. Биму верили, как верили языческим шаманам, средневековым колдунам, алхимикам, авантюристам всех времен и народов, просто потому, что очень хотели верить. Но это бы еще ничего. Настал момент, когда Бим сам поверил той пафосной ахинее, которой пичкал журналистов и профанов на интернетских форумах.

Бим стал знаменитостью. Он привык, что Соня, верный его ассистент, всегда с ним и за него, он приглашал ее с собой на телеэфиры. Она придумывала уважительные причины, чтобы не пойти. Ей было стыдно и страшно сказать ему правду. Она не собиралась уходить из лаборатории, но ее научный руководитель сошел с ума. Она решила уйти, но было некуда. Проблема ее заключалась в том, что она хотела заниматься наукой, а не бессовестной коммерцией под личиной науки. Ей казалось, что сейчас такую возможность может предоставить только одна структура — «Биология завтра». И вот, как будто по мановению волшебной палочки, появился этот Кулик.

«Надо принять жаропонижающее и просто поспать, — думала Соня. — Слишком много вопросов на одну большую горячую

голову, у которой еще и в ухе стреляет. У меня не голова, а головешка. Кулик пройдоха и жулик, никакой не ученый, впрочем, для административной работы — в самый раз. Если он там стал исполнительным директором, значит, ворочает деньгами, фондами, грантами. Лично его вряд ли могли заинтересовать мои исследования, ему это по фигу. Но кто-то ведь там разбирается в научных вопросах, и Кулику поручили выйти на меня. Почему вдруг? И каким образом среди этих фотографий в папином портфеле оказался великий Свешников? Может быть, одно с другим как-то связано? Нет. Ерунда. Это температура, это бред. Господи, как знобит. Где же Нолик?»

Она чуть не свалилась с тахты, когда Нолик шлепнул ей на лицо мокрое, пахнущее водкой полотенце.

— Горе, ты бы хоть отжал его! — простонала Соня.

* * *

Москва, 1916

Гости разъехались. Михаил Владимирович и Агапкин удалились в кабинет профессора.

— Не обижайтесь, Федор, — сказал Свешников, усаживаясь в кресло и отстригая кончик сигары толстыми кривыми ножницами, — я знаю, как легко вы загораетесь, как остро переживаете разочарования. Я не хотел волновать вас по пустякам.

— Ничего себе пустяки! — Агапкин прищурился и оскалил крупные белые зубы. — Вы хотя бы отдаете себе отчет в том, что произошло? Впервые за всю историю мировой медицины, со времен Гиппократата, опыт омоложения живого организма закончился удачей!

Профессор весело рассмеялся:

— О, Господи, Федор, и вы туда же! Я понимаю, когда об этом говорят горничные, романтические барышни и нервные дамы, но вы все-таки врач, образованный человек.

Лицо Агапкина оставалось серьезным. Он достал папиросу из своего серебряного портсигара.

— Михаил Владимирович, вы в последние две недели не пускали меня в лабораторию, вы все делали один, — произнес он хриплым шепотом, — разрешите мне хотя бы взглянуть на него.

— На кого? — все еще продолжая посмеиваться, профессор зажег спичку и дал Агапкину прикурить.

— На Гришку Третьего, конечно.

— Пожалуйста, идите и смотрите, сколько душе угодно. Только не вздумайте открывать клетку. А в лабораторию не я вас не пускал. Вы же сами просили дать вам короткий отпуск до Таниных именин, у вас, насколько я помню, возникли некие таинственные личные обстоятельства.

— Ну да, да, простите. Но я же не знал, что вы начали серию новых опытов! Если бы я только мог предположить, я бы все эти личные обстоятельства послал к черту! — Агапкин жадно затянулся папиросой и тут же загасил ее.

— Федор, вам не совестно? — Профессор покачал головой. — Если я правильно понял, речь шла о вашей невесте. Как же можно — к черту?

— А, все разладилось. — Агапкин поморщился и махнул рукой. — Не будем об этом. Так вы покажете мне крысу?

— И покажу, и расскажу, не волнуйтесь. Но только давайте сразу условимся, что об омоложении мы говорить не станем. То, что произошло с Григорием Третьим, — всего лишь случайное совпадение, ну, в крайнем случае, неожиданной побочный эффект. Я не ставил перед собой никаких глобальных задач, я слишком устаю сейчас в лазарете, у меня совсем не остается сил и времени на занятия серьезной наукой. В лаборатории я только отдыхаю, развлекаюсь, тешу свое любопытство. Я вовсе не собирался омолаживать крысу. Кажется, я говорил вам, что меня многие годы занимает загадка эпифиза. Вот уже двадцатый век на дворе, а до сих пор никто точно не знает, зачем нужна эта маленькая штука, шишковидная железа.

— Современная наука считает эпифиз бессмысленным, рудиментарным органом, — быстро произнес Агапкин.

— Глупости. В организме нет ничего бессмысленного и лишнего. Эпифиз — геометрический центр мозга, но частью мозга не

является. Его изображение есть на египетских папирусах. Древние индусы считали, что это третий глаз, орган ясновидения. Рене Декарт полагал, что именно в эпифизе обитает бессмертная душа. У некоторых позвоночных эта железка имеет форму и строение глаза, и у всех, вплоть до человека, она чувствительна к свету. Я вскрыл мозг старой крысы, не стал ничего удалять и пересаживать, менять старую железку на молодую. Я это проделывал много раз, и все безрезультатно. Животные дохли. Я просто ввел свежий экстракт эпифиза молодой крысы.

Михаил Владимирович говорил спокойно и задумчиво, как будто с самим собой.

— И все? — Глаза Агапкина выкатились из орбит, как при базедовой болезни.

— Все. Потом я наложил швы, как положено при завершении подобных операций.

— Вам удалось все это проделать *in vivo*? — спросил Агапкин, глухо кашлянув.

— Да, впервые за мою многолетнюю практику крыса не погибла, хотя, конечно, должна была погибнуть. Знаете, в тот вечер все не ладилось. Дважды выключали электричество, разбилась склянка с эфиром, у меня заслезились глаза, запотели очки.

Из гостиной слышались приглушенные голоса. Играла музыка.

— Там, кажется, продолжают веселиться, — пробормотал профессор и взглянул на часы, — Андрюше пора бы в постель.

В гостиной правда было весело. Володя опять завел граммофон и предложил играть в жмурки. Таня смеялась, когда Андрюша завязывал ей глаза черным шелковым шарфом под шелестящий граммофонный голос Плевицкой. Андрюша вдруг прошептал на ухо:

— Знаешь, почему папа поперхнулся, когда за завтраком сказал слово «любовь»?

— Потому что ростбиф не прожевал, перед тем как произносить речь, — сквозь смех ответила Таня.

— При чем здесь ростбиф? Вчера вечером, когда мы с тобой были в театре, полковник Данилов заходил к папе и говорил с ним о тебе.

— Данилов? — Таня стала икать от смеха. — Этот старенький, седенький обо мне? Какая чушь!

— Он имел наглость просить твоей руки. Я случайно услышал, как Марина сплетничала об этом с няней.

— Подслушивал? Ты подслушивал болтовню прислуги? — зло прошипела Таня.

— Ну вот еще! — Андрюша мстительно туго стянул узел, схватил и дернул прядь волос. — Нянька глухая, они обе орали на всю квартиру.

— Эй, больно! — взвизгнула Таня.

— Если его не убьют на войне, я вызову его на дуэль! Стреляться станем с десяти шагов. Он стреляет лучше, прикончит меня мгновенно, и ты будешь виновата, — заявил Андрюша и раскрутил Таню за плечи, как будто она была игрушечным волчком.

— Дурак! — Таня чуть не упала, неестественным, слишком детским движением оттолкнула брата, на ощупь вытянула прядь из узла, при этом еще безнадежней запутав волосы, и застыла посреди гостиной в полнейшей, бархатной темноте, которая стала быстро наполняться запахами и звуками. Они казались ярче и значительней, чем в обычной, зрячей, жизни.

«Он решился. Он сошел с ума. Его могут убить на войне. Жена! Какая, к черту, из меня жена?» — думала Таня, слепо щупая и нюхая теплый воздух гостиной.

Ноздри ее трепетали, перед глазами во мраке плавали радужные круги.

Сквозь высокий голос Плевицкой и сухой треск граммофонной иглы Таня услышала, как выразительно сопит старая нянька в бархатном кресле и как от нее пахнет ванильными сухарями. Слева, из буфетной, донесся музыкальный звон посуды, густо потянуло одеколоном «Гвоздика». Лакей Степа поливался им каждое утро. Из отцовского кабинета приплыл мягкий медовый дым сигары. Таня сделала несколько неверных шагов в неизвестность.

Раздался тихий фальшивый Андриюшин смех, отрешенный художественный свист Володи. Ее вдруг обдало сухим жаром. Она испугалась, что сейчас налетит на печь, и тут же врезалась во что-то большое, теплое, шершавое.

— Танечка, — пробормотал полковник Данилов, — Танечка.

Ничего больше он сказать не мог. Он только что вошел в гостиную, столкнулся с незрячей Таней. Они обнялись, нечаянно, неловко, и так застыли. Она успела услышать, как быстро у него бьется сердце. Он успел прикоснуться губами к ее макушке, к белой тончайшей линии пробора.

Таня оттолкнула Данилова, содрала с глаз черную повязку и пыталась распутать волосы.

— Павел Николаевич, ну, помогите же мне! — собственный голос показался ей противным, визгливым.

У полковника слегка дрожали руки, когда он выпутывал пряди ее волос, застрявшие в узле. Тане хотелось его ударить и поцеловать, хотелось, чтобы он ушел сию минуту и чтобы не уходил никогда. Она наконец могла видеть. Он стоял перед ней, комкая в руках черный шарф. Она чувствовала, как у нее пылают щеки.

Когда Таня называла полковника Данилова стареньким и седеньким, она, конечно, лгала, прежде всего самой себе. Полковнику было тридцать семь лет. Невысокий, крепкий, сероглазый, он стал седым на фронте, еще на японской войне. Тане он снился чуть ли не каждую ночь. Сны были совершенно неприличные. Она злилась и при встрече боялась взглянуть ему в глаза, как будто и вправду уже произошло между ними все то стыдное, жаркое, жуткое, отчего второй год подряд она просыпалась среди ночи, жадно пила воду и бежала глядеться в зеркало в зыбком свете уличного фонаря, льющегося в окно спальни.

Утром на первых двух уроках в гимназии Таня зевала, жмурилась, грызла кончик своей длинной светлой косы. Потом про сон забывала, жила, как обычно, вплоть до следующей ночи.

Володя язвил, что сестра влюбилась в старого монархиста, ретрограда, мракобеса, и теперь ей только остается повесить у себя в комнате семейный портрет Романовых, венчаться с пол-

ковником, рожать ему детей, толстеть, тупеть и вышивать крестиком.

Андрюша мрачно, выразительно ревновал. Ему едва исполнилось двенадцать. Мама умерла родами, когда он появился на свет. Таня была похожа на маму, много возилась с маленьким братом. Няня внушила Андрюше, что маменька стала ангелом и смотрит на него с неба. Андрюша внушил самому себе, что Таня — полноправный земной представитель ангела маменьки и потому должен прилежно выполнять все ангельские обязанности.

К Таниным поклонникам он относился снисходительно, презирал их и даже иногда жалел. Только полковника Данилова не навидел, тихо и серьезно.

«Ерунда. Андрюшка все выдумал», — решила Таня, подошла к этажерке, принялась перебирать граммофонные пластинки.

Андрюша встал рядом, спиной к гостю, картинно приклонил голову сестре на плечо. Они были почти одного роста, и стоять ему так, с вывернутой шеей, было ужасно неудобно. Полковник остался один посреди гостиной. Подождав минуту, он кашлянул и тихо произнес:

— Татьяна Михайловна, поздравляю вас с именинами, тут вот подарок. — Он вытащил из кармана маленький ювелирный футляр и протянул Тане.

Таня вдруг испугалась. Она поняла, что это не ерунда, что Данилов действительно говорил с ее отцом о ней, а отец настолько занят своими пробирками и крысами, что не взял на себя труд предупредить Таню.

Золотой замочек не открывался. Таня сломала ноготь.

— Давайте, я попробую, — подал голос Володя, который до этой минуты сидел в кресле, рассеянно листая журнал.

В первую секунду Тане показалось, что на синем бархате сидит живой светлячок. Володя присвистнул. Андрюша презрительно фыркнул и пробормotal: «Подумаешь, стекляшка!» Данилов надел Тане на безымянный палец кольцо из белого металла с небольшим, удивительно ярким прозрачным камнем. Кольцо оказалось впору.

— Его носила еще моя прабабушка, — сказал полковник, — потом бабушка, мать. У меня нет никого, кроме вас, Татьяна Ми-

хайловна. Отпуск кончается, завтра я возвращаюсь на фронт. Ждать меня некому. Простите. — Он поцеловал Тане руку и быстро вышел.

— Беденький, — прошипел из угла Андрюша.

— Ну, что же ты застыла? — усмехнулся Володя. — Беги, догони, заплачь, скажи: милый, ах, я твоя!

— Вы, два идиота, заткнитесь! — крикнула Таня почему-то по-английски и побежала догонять Данилова.

— Дети, что случилось? Танечка куда помчалась? Где Мишенька? — прошуршал ей вслед испуганный голос няни.

В прихожей полковник надевал шинель.

— Завтра? — глухо спросила Таня.

Плохо понимая, что делает, она ухватилась за лацканы его шинели, притянула к себе, уткнулась лицом ему в грудь и забормотала:

— Нет, нет, я замуж за вас не выйду ни за что. Я слишком люблю вас, а семейная жизнь пошлость, скука. И запомните. Если вас там убьют, я жить не стану.

Он погладил ее по голове, поцеловал в лоб.

— Будете ждать меня, Танечка, так и не убьют. Я вернусь, мы обвенчаемся. Михаил Владимирович сказал, это вам решать. Он никаких преград не видит. Разве что война, так она кончится, надеюсь, что скоро.

* * *

Москва, 2006

Соня проснулась среди ночи от странного звука, как будто за стеной кто-то пытался завести мотоцикл. Несколько минут она лежала, ничего не понимая, смотрела в потолок. Было холодно, на улице мела метель. Следовало встать, закрыть форточку, посмотреть, что там, за стеной, происходит.

На экране мобильного высветилось время — половина четвертого. Спать больше не хотелось. Температура упала. Соня

поняла наконец, что уснула в папиной комнате, на его тахте, а за стеной храпит Нолик.

Напротив окна качался фонарь, тени на потолке и на стенах двигались. Соне вдруг показалось, что папина комната живет своей таинственной ночной жизнью и она, Соня, здесь лишняя. Никто не должен видеть, как трагически сторбилась настольная лампа, как дрожат занавески, как блестит подернутый слезной влагой огромный прямоугольный глаз, зеркало платяного шкафа.

Стоило шевельнуться, и тахта заскрипела.

— Лежишь? — послышалось Соне. — А ты не думаешь, что твоего любимого папочку могли убить?

— Кто? Почему? — испуганно вскрикнула Соня и от звука собственного голоса окончательно проснулась, включила свет.

Диагноз, который поставил врач «скорой», ни у кого не вызвал сомнений: острая сердечная недостаточность. Соня была в тот день как сомнамбула, механически отвечала на вопросы, под диктовку врача и милиционера заполнила разлинованный бланк.

«Я, Лукьянова Софья Дмитриевна, 1976 года рождения, проживающая по такому-то адресу. Такого-то числа, в таком-то часу я зашла в комнату своего отца, Лукьянова Дмитрия Николаевича, 1939 года рождения. Он лежал на кровати, на спине, накрытый одеялом. Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался, кожа на ощупь была холодной...»

Она упрямо повторяла, что ее папа был здоров и на сердце никогда не жаловался, как будто хотела доказать им и себе, что смерть — недоразумение, сейчас он откроет глаза, встанет.

— Шестьдесят семь лет, к тому же Москва. Кошмарная экология, постоянные стрессы, — объяснял врач.

Он был пожилой и вежливый. Он сказал, что о такой смерти можно только мечтать. Человек не мучился, умер во сне, в своей постели. Да, наверное, мог бы прожить еще лет десять-пятнадцать, но сейчас молодые мрут как мухи, а тут старик.

Все хлопоты, расходы на похороны и поминки взял на себя институт. Кира Геннадьевна, жена Бима, постоянно находилась рядом с Соней, кормила ее успокоительными таблетками, но у Сони были сильные спазмы в горле, она с трудом сумела про-

глотить только одну капсулу, а потом началась неудержимая рвота, и пока все сидели за поминальным столом, Соню в ванной выворачивало наизнанку.

На следующий день после похорон и поминок у Сони поднялась температура. Она не подходила к городскому телефону. Мобильный отключили за неуплату.

Вчера кто-то положил деньги, и мобильный заработал.

— Если постоянно думать об этом, можно сойти с ума, — сказала себе Соня, — ведь никому, ни единому человеку такое в голову не пришло.

Соня сжала виски и заплакала.

Между тем храп прекратился. За стеной послышалась возня, скрип, кашель, шарканье. Нолик в плеле, как в римской тоге, возник в дверном проеме.

— Ты чего? — спросил он сквозь зевоту.

Соня продолжала плакать и не могла сказать ни слова. Нолик сходил на кухню, вернулся с чашкой холодного чая. Она пила, и зубы стучали о край чашки.

— А температура упала, — сказал Нолик, пощупав ее лоб, — будешь рыдать, опять поднимется.

— Иди спать, — сказала Соня.

— Ну ты даешь! — возмутился Нолик. — Ты бы на моем месте ушла? Заснула бы? Слушай, ты так и не рассказала, о чем вчера вы говорили с этим Беркутом? Что в итоге он тебе предложил?

— С Куликом. — Соня всхлипнула. — Он назначил встречу на завтра. Там какой-то грандиозный международный проект, создание биоэлектронного гибрида. Морфогенез *in vitro*, под контролем компьютера.

— Не понял. — Нолик нахмурился и покрутил головой.

— Они хотят не просто выращивать ткани в пробирках, но руководить этим процессом, командовать клеткой, — объяснила Соня и вытерла слезы. — Конечно, теоретически это имеет отношение к моей теме, но все-таки странно, почему вдруг они проявили такую активность. Кулик даже не стал ждать моего звонка, позвонил сам. Это совершенно на него не похоже.

— У тебя, Софи, заниженная самооценка. Встряхнись, приди в себя. Смотри, сколько всего хорошего случилось. Остается только вылечить твое ухо.

— И оживить папу, — пробормотала Соня.

— Все, хватит! — Нолик повысил голос, встал, прошелся по комнате. — Когда умирают родители, это больно, тяжело. Но, Софи, это нормально. Дети не должны тормозить на полном ходу, понимаешь? Если я не сопьюсь окончательно и все-таки найдется женщина, которая решится родить от меня ребенка, я буду заранее готовить его к этому, приучать к простой мысли, что родители уходят первыми. Да, Дмитрий Николаевич умер, горе огромное, но твоя жизнь продолжается.

— А если его убили? — вдруг спросила Соня.

Нолик застыл с открытым ртом, закашлялся, схватил бумажный платок, распотрошил трясущимися руками всю пачку, вытер мокрый лоб.

— Есть яды, которые не оставляют никаких следов в организме и своим действием имитируют картину естественной смерти, например от острой сердечной недостаточности, — чужим, механическим голосом продолжала Соня. — Что-то происходило в жизни папы в последние два месяца. Он сильно изменился. Кто-то давил на него, от него чего-то хотели. В ресторане, в последний вечер, у него состоялся с кем-то очень тяжелый разговор. Я никогда не видела его в таком состоянии, пожалуй, только когда мама уехала, и то он держался лучше.

— Так может, у него просто болело сердце, и он тебе ничего не говорил? — спросил Нолик, немного успокоившись. — Дмитрий Николаевич всегда был здоровым, привык к этому. И тут — как гром среди ясного неба. Боли в сердце, плохое самочувствие. Он мог ходить на какие-то обследования, пытался лечиться и не хотел тебя грузить. Возможно, и в Германию он летал, чтобы проконсультироваться с врачами, пройти курс лечения. Болезнь на него давила, Софи, какая-то тяжелая и сложная болезнь сердца, от которой он в итоге умер. Не накручивай себя, не выдумывай злодеев с ядом в ресторане.

— Логично, — Соня вздохнула, — да, пожалуй, ты прав. Ну, а портфель? Фотографии?

— Да! Насчет фотографий! — крикнул Нолик и по своей дурацкой театральной привычке хлопнул себя по лбу. Иногда он не рассчитывал силы, и на лбу оставались красные полосы. — Я понял, кого мне напоминает девочка с косой! Странно, что ты не узнала ее!

Нолик оглядел комнату, подошел к книжным полкам. Там, за стеклом, стояло несколько снимков. На самом большом и старом, взятом в рамку, была запечатлена строгая и очень красивая девушка. Волосы казались темней, чем на фотографиях из папиного портфеля. Коса не видна, убрана в пучок на затылке. Сониная бабушка, папина мама, Вера Евгеньевна Лукьянова, совсем юная.

* * *

Москва, 1916

Пехотный унтер Самохин жаловался, что правая рука у него затекает, пальцы пухнут и чешутся. На указательном врос ноготь, хорошо бы вырезать.

— Я, барышня, играю на гитаре и должен беречь пальцы.

Таня откинула одеяло и увидела забинтованную культю. Правая рука унтера была ампутирована до предплечья. Таня поправила ему подушку, погладила бритую голову и произнесла, подражая двум старым сестрам-монахиням, работавшим тут же, в послеоперационной палате:

— Голубчик, миленький, потерпи.

Койка в другом конце палаты скрипела, сиплый голос тихо напевал:

— Царь на троне, вошь в окопе. У германца пуля в жопе.

На подушке возлежала большая розовая голова, бритая, как у всех раненых. Длинные руки были подняты вверх, пальцы сжимались, разжимались, кисти совершали странные круговые движения. Под одеялом угадывалось короткое тело. Плоский холм размером с туловище, а дальше ничего.

— Руки упражняю, — объяснил солдат, — теперь они у меня вместо ног. Ноги я, видишь, французу одолжил, в навечное пользование, Верден ихний от германцев отбивал. И на кой леший, спрашивается, мне ихний французский Верден сдался? Что я там забыл? Небось, они за мою деревню Канавки воевать не прибегут.

— Чешутся, чешутся пальцы-то, — повторил унтер.

— Ничего, не волнуйтесь, это скоро пройдет, — сказала Таня. Сухие губы унтера растянулись, сверкнул стальной клык.

— Что пройдет? Что? Новая рука вырастет?

— А говорят, доктор Свешников такие опыты делает, чтоб у человека отрастали руки, ноги, как, к примеру, хвост у ящерицы, — громко произнес безногий.

— Сказки все это, — сказала Таня и почувствовала, что краснеет, — никаких таких опытов профессор Свешников не делает.

— Ты почему знаешь, барышня? — глухо спросил молодой солдат, сосед унтера.

У него была забинтована вся голова. Виднелся только рот. Его ранило в лицо шрапнелью, он лишился глаз и носа.

Безногий прекратил свои упражнения, в палате стало тихо.

— Я знаю. — Таня растерянно оглядела палату. — Я знаю потому, что человек не саламандра!

— Волосы отрежешь — растут. И борода растет, и ногти, даже у покойника, — весело произнес еще один безногий, на койке у окошка, — и кожа новая вырастает на месте раны. Почему бы тогда не вырасти, скажем, целой ногой или руке?

— У младенца как молочные зубки выпадут, так новые-то вылезают, — поддержал безногого унтер.

— Это совсем другое. Зачатки постоянных зубов существуют заранее, — стала объяснять Таня, — волосы и ногти состоят из особых клеток, роговых. А новая кожа образуется только на небольших поврежденных участках, этот процесс называется регенерацией тканей, но если повреждена значительная часть кожного покрова, организм с этим справиться не может.

Палата молчала и слушала. Раненые смотрели на Таню. Казалось, даже безглазый смотрит. Тане стало совестно. Что-то фальшивое почудилось в собственном бодром снисходительном тоне.

«Зачем им мои научные лекции? — подумала она. — Им нужны их живые руки, ноги, глаза или хотя бы вера в невозможное».

— Косьма и Дамиан, святые праведники, от мертвеца ногу отпилили, к живому пришили, помолились, и ничего, все срослось. Ходил человек, нога прижилась как родная, только была она черная, потому как покойник африканец, а этот, кому пришили, сам-то белый, — громко сообщил безногий и позвал Таню: — А ну, красавица, помоги. Мне по малой нужде надо.

На спинке кровати Таня прочитала: «Иван Карась, 1867 г.р., рядовой...»

— Фамилия у вас интересная, — улыбнулась Таня, вытаскивая из-под кровати эмалированную утку.

— Хорошая фамилия, не жалуюсь. Карась — рыбка полезная. Подсоби, или вот что, лучше старуху монашку поклещи, я тяжелый.

— Ничего, — Таня старалась не морщиться от запаха, хлынувшего из-под солдатского одеяла.

Иван Карась был весь мокрый. Видно, не дотерпел и не почувствовал.

«Перчатки, — испуганно подумала Таня, — папа сказал, это надо делать только в перчатках...»

Но отойти она уже не могла. Ей было неловко брезговать солдатом, звать на помощь полную, астматическую матушку Арину, которая только что легла поспать в сестринской комнате.

— У меня младшая, Дуняша, на тебя похожа, — сказал солдат, — такая же голубоглазая, шустрая. В горничных она, в Самаре, у купцов Рындиных. Ничего, люди не злые, платят честно, к каждому празднику подарочек. Старшая моя, Зинка, тоже стала городская, на модистку обучилась. Сыновья оба воюют. Тут это, маманя моя приехала из деревни, у снохи живет на Пресне, успеть бы повидать ее. И за батюшкой надо бы послать кого-нибудь, причаститься мне. Я ж сегодня ночью вроде как помру. Бог на небе, кони в мыле, а солдатухи в могиле.

Таня чуть не выронила утку. Безногий говорил спокойно, рассудительно, губы его не переставали улыбаться. Только теперь Таня заметила, что он пылает и сквозь бинты на культях сочится кровь.

— Подождите, миленький, я сейчас, — она бросилась вон из палаты.

Два часа назад привезли новую партию раненых, все врачи были заняты. Михаил Владимирович проводил срочную операцию и отойти не мог. К Ивану Карасю явился молодой хирург Потапенко вместе с фельдшером и двумя сестрами.

— Плохо дело. Гнойное воспаление обеих культией, вот-вот начнется гангрена, а резать дальше некуда, — сказал Потапенко.

Повязки сняли, раны промыли, но с лихорадкой справиться не сумели. Явился батюшка. Карась долго тихо исповедался в палате. Дьякон читал молитву. Запах ладана успокаивал, усыплял. Таня впервые за эти дни почувствовала долгожданную животную усталость, без всяких мыслей, без замирания сердца и горячего комка в горле.

Это была ее третья ночь в госпитале. Отец отговаривал, она не послушала. Она все равно не могла спать, с начала Великого поста пребывала в лихорадочном возбуждении. Ей хотелось действовать, преодолевать трудности, нестись, спасти кого-то.

В середине марта от полковника Данилова пришло короткое письмо. Его передал молодой толстый поручик. Данилов писал, что жив, из-за весенней распутицы чувствует себя болотной лягушкой, мечтает о трех вещах: увидеть Таню, выспаться и послушать хорошую музыку. На Пасху надеется получить отпуск, но загадывать не стоит.

«Танечка! Передайте Михаилу Владимировичу, что его предположения о холоде, скорее всего, верны. В феврале раненые, оставленные на открытом воздухе, на снегу, теряли меньше крови и выживали».

Поручик очень спешил, отказался от чая. Таня при нем села писать ответ. Первый вариант разорвала, второй тоже. Поручик теребил бахрому скатерти, качал ногой и смотрел на часы. В итоге было написано следующее:

«Павел Николаевич! Мне без вас одиноко и скучно. Пожалуйста, возвращайтесь скорее. Знаю, от Вас это не зависит. Каждый вечер, от восьми до девяти, буду играть для Вас Шопена и Шуберта. Вы в это время думайте обо мне и воображайте, будто

слушает музыку. Папа сейчас в госпитале, а ваш поручик ждать не может. Он сидит, качает ногой, и я нервничаю. Ваша Т.С.».

— Вот! И не надо никаких теоретических доказательств! — сказал отец, когда Таня показала ему записку Данилова. — На холоде мозг потребляет меньше кислорода, сосуды сужаются. Это известно с глубокой древности. Для доказательств сейчас времени нет. Я бы написал Павлу Николаевичу, у меня к нему масса вопросов. Этот поручик адреса не оставил?

— Нет. Но ты все равно напиши, — посоветовала Таня, — может, будет опять оказия.

Даже самой себе она боялась признаться, что ожидание этой оказии, очередной весточки от полковника, стало смыслом ее жизни. Вечерами, с восьми до девяти, она садилась за рояль в гостиной и играла, даже если слушать, кроме глухой няньки, было некому.

С фронта приходили дурные вести. Но казалось, всем наплевать. Патриотический подъем осени и зимы четырнадцатого давно сменился равнодушием. В феврале началось генеральное наступление немцев на Западном фронте. Шли отчаянные безнадежные бои под Верденом. Французское и итальянское правительства требовали помощи. Россия честно выполняла союзнический долг.

18 марта 1916 года русские войска двинулись на Запад. В боях на Двинском и Виленском направлениях потеряли 78 тысяч человек. Общество было больше занято сплетнями о Распутине, спиритическими и гипнотическими опытами, скандальными уголовными процессами, ставками на бирже.

В воскресенье Таня спала весь день. В понедельник сходила в гимназию, вечером опять была в госпитале.

Рядовой Иван Карась был еще жив. На стуле возле его койки сидела маленькая сухая старушка. Таня застыла на пороге палаты. Старушка сняла повязки с культей. На тумбочке стоял какой-то грязный горшок, старушка смачивала в нем тряпицы и обкладывала открытые раны.

— Что вы делаете? — крикнула Таня.

— Не кричи, дочка, мне доктор разрешил.

— Какой доктор?

— Самый лучший, — подал голос Карась, — профессор Свешников Михаил Владимирович.

— Вы ерунду говорите, не мог он вам разрешить, не мог! Сейчас же прекратите!

— Успокойся, Танечка, — сказал отец, когда она нашла его в соседней палате, — это плесень гниющего иссопа. Знаешь такое растение? Оно даже в Псалтири упоминается: «Окропи меня иссопом, и буду я чист; омой меня, и буду белее снега».

— Знаю, — буркнула Таня, — но только иссоп не растет в Палестине, и значит, в Псалтири говорится о каком-то другом растении.

— Умница, — профессор погладил ее по голове, — библейский иссоп, то есть езов, — это на самом деле каперсы, или чабер из семейства губоцветных. В древности верили, что это растение очищает от проказы.

— Папа, хватит! Ты же не темная бабка, ты знаешь, что плесень — это грязь. Это негигиенично.

— Танечка, это ты все знаешь о медицине, а я чем больше занимаюсь ею, тем яснее чувствую ничтожность моих знаний. — Михаил Владимирович вздохнул и покачал головой. — В древнейшем египетском медицинском папирусе Смита приводятся рецепты лечения гнойных ран хлебной и древесной плесенью. Это шестнадцатый век до нашей эры. В народной медицине плесень используют уже несколько тысяч лет, и у нас, и в Европе, и в Азии. Иногда она помогает. Как, почему — неизвестно.

Глава третья

Кроме ресторана «Жетэм» и серебристого спортивного «Лаллета», который стоил около миллиона евро, Петру Борисовичу Кольту принадлежала еще дюжина ресторанов в Москве, Петербурге, Праге и Ницце. Рестораны были его хобби. Он покупал их для удовольствия, а не ради прибыли, так же как виллы на самых красивых побережьях, яхты, спортивные автомобили, картины и яйца Фаберже.

Кольт стоял во главе небольшой, но крепкой финансовой империи, включающей в себя пару-тройку банков, десяток нефтяных скважин, сеть бензозаправочных станций и скромных водочных заводиков в российской провинции. Кольт был соучредителем нескольких благотворительных фондов и премий. За пожертвования на строительство православных храмов получил орден Святого Благоверного князя Даниила Московского третьей степени. За заслуги перед буддистской верой был удостоен звания почетного буддиста и доктора буддистской философии, что отчасти справедливо, поскольку по образованию Петр Борисович был философ.

В далеком шестьдесят пятом году он окончил философский факультет МГУ. Диплом защищал не по буддизму, а по марксизму-ленинизму, после чего был взят на ответственную должность второго секретаря по идеологии сначала в районный, а потом в городской комитет ВЛКСМ.

В застойные семидесятые он заведовал отделом в ЦК ВЛКСМ, пользовался всеми положенными по статусу благами, но с самого начала своей успешной комсомольской карьеры чувствовал зыбкость, ненадежность советской номенклатурной пирамиды и, карабкаясь вверх, не забывал подстелить себе соломки на случай, если придется падать.

Падать не пришлось. В число его друзей входило несколько крупных подпольных цеховиков и даже один воровской авторитет, и смутные девяностые не застали Кольта врасплох.

Вареные джинсы, поддельные кассеты, водочные этикетки, кооперативные ларьки, финансовые пирамиды, недвижимость — все приносило ему деньги. Бешеный галоп инфляции, приватизация, сначала ваучерная, потом залоговые аукционы, путчи, кризисы, дефолты — все шло Петру Борисовичу на пользу, потому что он был человек умный и нежадный, умел идти на компромиссы и просчитывал любую ситуацию на несколько ходов вперед.

Цеховиков поубивали и пересажали, авторитет сбежал в Америку, был там арестован со скандалом, но к этому времени Петр Борисович уже не дружил с ними. Его друзьями стали ветераны-афганцы, спортсмены, молодые политики-реформаторы. Он не жалел денег на учреждение фондов помощи и тем, и другим, и третьим, он помогал ветеранам милиции, монастырям и домам престарелых, участвовал в строительстве оздоровительного центра для сирот.

В середине девяностых он был избран депутатом Думы от Вуду-Шамбальского автономного округа и даже съездил туда, в восточную степную глушь, где гудели пыльные бури, вольно паслись табуны красных лошадей, женщины в ярких платках с плоскими смуглыми лицами курили трубки. Стоило сделать в твердой степной земле дырку, и оттуда сразу взлетал в небо фонтан нефти.

Молодой бойкий губернатор Герман Ефремович Тамерланов считался там живым воплощением древнего божества Йоруба, жители молились его бюстам, расставленным повсюду в городах и поселках. Божество разъезжало по дрянным степным дорогам на открытом «Феррари», играло в теннис и имело гарем из двенадцати женщин разных национальностей.

Петр Борисович с божеством подружился, был пожалован титулом воплощенного Пфа, брата Йорубы, помог Йорубе построить конный завод, наладить производство одеял из овечьей шерсти и прикупил парочку свежих нефтяных скважин.

В степи изобильно росла трава кхведо, по свойствам своим весьма похожая на коноплю, но осторожные предложения Йорубы развернуть совместный бизнес Кольт вежливо отклонил.

Всю вторую половину девяностых Петра Борисовича избирали, награждали, поздравляли, наделяли полномочиями и гарантиями неприкосновенности. Он улыбался, жал руки, произносил речи, лоббировал законы в Думе, выступал в теледебатах и жалел только об одном — что в сутках всего лишь двадцать четыре часа.

Его грабили и шантажировали, пытались оклеветать, арестовать, убить. Но и это шло ему на пользу. Он набирался опыта, его интуиция обострялась, он еще глубже и ярче чувствовал прелесть жизни.

Двадцать первый век Петр Борисович встретил во французских Альпах, на горнолыжном курорте Куршевель, в лучшем ресторане, где официанты давно говорили по-русски.

Всю ночь бурлила вечеринка. В небе вспыхивали разноцветные огни фейерверков. Дрессированные медведи в бабочках разносили хрустальные вазы с черной икрой, гости поливали друг друга шампанским. Орала музыка, пьяны были все — олигархи, политики, шоу-звезды, модели. Кто-то лез на сцену произносить очередной тост, кто-то на стол — исполнять танец живота.

Какой-то молодой миллионер заказал для этой вечеринки у известного жулика-сводника голливудскую звезду, признанную самой красивой женщиной земного шара, но вместо звезды ему привезли трех молоденьких моделей, похожих на звезду, как родные сестры. Миллионер хотел убить сводника, но тот успел удрать, миллионера успокоили, напоили до бесчувствия.

Был устроен конкурс стриптиза. Не только девушки-модели, но и зрелые дамы, дизайнеры, владелицы модных галерей и магазинов, лидерши мелких партий, правых и левых, прыгали на эстраду, под свист и аплодисменты обнажались до белья. Среди желающих раздеться оказался немолодой модный певец. Он красиво швырял одежду в публику и тяжелой пряжкой брючного ремня подбил глаз популярной телеведущей. Крошечная собачонка мальтезе с паническим тьявканьем спрыгнула с ее колен, заметалась под ногами официанта, он покачнулся и обрушил все,

что нес на подносе, на голову молодого лидера левой оппозиции. Черепаховый суп и спаржевое пюре, по счастью, оказались не слишком горячими. Телеведущая шумно требовала компенсации, но не за подбитый глаз, а за бриллиантовую заколку-бантик, которая соскользнула с белоснежной шерсти ее нервного песика и потерялась в сутолоке под ногами толпы.

Было весело, как год назад, и два, и три года назад. Кольт любил такое веселье. Он расслаблялся, смеялся чужим шуткам, острил сам, пил много, но не напивался, иногда присматривал для себя какую-нибудь новенькую девочку, иногда даже умудрялся заложить основу серьезной сделки.

Но в ту новогоднюю ночь Петру Борисовичу почему-то вдруг стало скучно. Посреди всеобщего безумства он затосковал. Произошло это в туалете. Там было слишком яркое освещение. Он мыл руки, смотрел на свое лицо и думал, что ему пятьдесят девять. Маячит седьмой десяток. Он самый старший из всех в этом ресторане. Он старый. Ему хочется спать, у него покалывает сердце. Наступил век, в котором жить ему осталось лет десять, не больше.

Конечно, подобные мысли и раньше приходили ему в голову. Он думал о смерти много и часто, но совсем иначе. Пуля, взрывчатка, яд, хорошо разыгранный несчастный случай. Такая смерть была постоянной его спутницей, собеседницей, партнером по бизнесу, иногда другом, иногда врагом. Он привык к ней, как к родной, умел договориться, откупиться, перехитрить. Здравый смысл, интуиция, деньги — всем этим он обладал в избытке. Но в ослепительной гонке последних двадцати лет он как будто забыл, что есть и другой вариант финала.

Смерть естественная, никем не заказанная, никому не выгодная, но неизбежная, смотрела на него в ту новогоднюю ночь из зеркала роскошного ресторанный туалета, и без слов было ясно, что с ней не договоришься. Ни деньги, ни власть, ни связи, ничего ей не нужно.

— Все суета сует, — прошептал Кольт.

С той ночи он постоянно повторял эту фразу и про себя, и вслух.

Старуха не только смазывала раны своего сына плесенью иссопа, но еще и кормила его с ложки этой гадостью. Рядовой Иван Карась выжил. А вот пехотный унтер Самохин, которому ампутировали правую руку, умер, хотя заживление у него шло отлично.

— От тоски, — объяснил Тане его сосед.

— У него оказалась грудная жаба, — сказал Михаил Владимирович, — я, старый дурак, проворонил.

Карася перевели в другую палату. В мастерской при госпитале для него сделали примитивную инвалидную коляску. Целыми днями в сопровождении своей матери он разъезжал по коридорам, привязанный к доске на колесах, учился отталкиваться от пола короткими костылями.

Унтера снесли на кладбище. На освободившиеся койки положили двух новых раненых.

— Папа, это правда, что святые Косьма и Дамиан пришили человеку чужую ногу? — спросила Таня.

— Не знаю. Они жили в третьем веке в Риме, были хирургами. Есть полотно Франческо Бетулино. Напомни, дома я покажу тебе репродукцию. Нога на полотне черная. Возможно, ее, правда, пересадили от чернокожего человека. Но, скорее всего, нога почернела. Чужая конечность не прижилась, началась гангрена. Вообще, попытки пересадки живой ткани в большинстве случаев заканчиваются неудачей. Организм воспринимает их как враждебные и отторгает. Когда-нибудь, лет через пятьдесят, наука справится с этим.

От госпиталя до дома они шли пешком. Было первое по-настоящему весеннее утро. Небо расчистилось, солнце сияло в лужах и в оконных стеклах. Таня ловко обходила лужи, но все равно забрызгала грязью и промочила насквозь свои кремовые замшевые ботинки на высоких каблуках.

— Говорила тебе нянька: надень боты! — ворчал Михаил Владимирович. — Никогда никого не слушаешь, всегда поступаешь по-своему, даже в мелочах.

У храма Большого Вознесения толпились нищие. Шла обедня.

— Зайдем? — спросила Таня.

— Ну, если ты так хочешь, — профессор зевнул, — честно говоря, я мечтаю поскорей принять ванну и выспаться.

— Не волнуйся, мы недолго.

Тане хотелось поставить свечи, подать записки о здравии своего полковника и за упокой души унтера Самохина. В Бога она верила искренне и просто, как в раннем детстве, когда в храм ее водила нянька, так и сейчас. В гимназии многие прогрессивные барышни над ней смеялись. Барышни ее возраста и старше увлекались спиритизмом, читали «Теософский вестник», ходили к медиумам и гадалкам. Быть православной в культурном кругу считалось не то что старомодным, но почти неприличным. Брат Володя нарочно при Тане издевался над церковью, священников называл «попиками», зачитывал сплетни из бульварных газет о распутстве и обжорстве монахов, о гомосексуализме среди высшего духовенства. Таня никогда не спорила, старалась уйти, потом горячо, до слез, молилась за брата. Она знала, какими мерзостями занимается Володя в своем веселом оккультном кружке.

Михаил Владимирович атеистом не был, но церковь считал всего лишь одним из государственных учреждений. Танины чувства щадил, в храме аккуратно крестился и в Великий пост не ел скоромного.

Когда поднялись на паперть и стали раздавать нищим мелочь, крошечная, похожая на птичью лапку рука вцепилась в подол Таниной белой шубки.

— Помоги, помоги...

Высокий голос звучал совсем тихо, но заглушал остальные голоса. Существо в истлевшей гимназической тужурке, в кальсонах и огромных кирзовых сапогах смотрело на Таню выпуклыми карими глазами без ресниц. Голова была замотана рваной вязаной шалью. Маленькое сморщенное лицо казалось злой карикатурой и на ребенка, и на старика, и вообще на человека. Здоровая баба в лохмотьях дернула ребенка-старика за ворот тужурки, прошипела:

— Оська, черт, не тронь благородную барышню, отцепись, замараешь дорогую шубку! Иди к своей синагоге, там проси, не здесь! Барышня-красавица, подай на хлебушек солдатской вдове, пожалей деток-сироток!

То ли баба встряхнула Оську слишком сильно, то ли сам он едва держался на ногах, но ребенок-старик стал вдруг медленно падать, и так получилось, что упал он Тане на руки. Михаил Владимирович приподнял голое веко, пощупал пульс.

— Обморок, — тихо сказал он Тане.

Она держала мальчика на руках, он был странно легким, почти бесплотным. Профессор побежал за извозчиком. Через двадцать минут вместе с ребенком-стариком они вернулись в госпиталь. По дороге он очнулся. Сказал, что чувствует себя хорошо, зовут его Иосиф Кац, ему через месяц будет одиннадцать лет.

— Где твои родители? — спросил Михаил Владимирович.

— Дома, в Харькове, — ответил мальчик.

Пока Таня вместе с сестрой Ариной мыла его и кормила, он успел рассказать, что учился в первом классе гимназии и сбежал из дома с бродячим цирком. По дороге в повозку попала немецкая бомба, все погибли, а он выжил, но стал седым от пережитого ужаса.

— Так родители твои ищут ведь тебя, волнуются, — покачала головой сестра Арина.

— Ничего. Я им телефонировал, — ответил мальчик, — они все знают.

— Что — все? — спросила Таня.

— Что я в Москве и буду поступать в театр. Я хочу сыграть шута в «Короле Лире». Вот только поправлюсь, то есть вылечусь.

Когда мальчика стал осматривать Михаил Владимирович, ребенок болтал без умолку. Признался, что из дома не сбежал, просто так получилось случайно. Давно, еще летом, на полянке возле дачи сел немецкий аэроплан. Летчик спросил Осю, где тут ближайший трактир, и ушел обедать, а Ося залез в кабину, стал крутить руль, нажал на рычаг, аэроплан возьми и взлети. Ося сначала испугался, но потом ему понравилось, он летел выше облаков и даже взял пассажира, старого ворона Ермолая. Ворон этот

жил когда-то на дереве возле дома Оси, был умный и добрый, умел говорить, ел с рук, но потом пропал. И вот Ося встретил его в небе, взял в кабину своего самолета. Ворон рассказал, что сбежал от филеров охраны, поскольку сочувствовал социал-демократам, ночами расклеивал листовки и мерзавцы воробьи донесли на него.

— Мы с Ермолаем летали, пока не замерзли. В небе ведь холодно, холодней, чем на земле. Приземлились ночью в Москве, в Нескучном саду. Было темно, никто нас не видел. Мы зарыли самолет в клумбу. Я решил остаться в Москве инкогнито, поменять фамилию и стать великим артистом кинематографа, как господин Чаплин. Ермолай побоялся остаться. За ним охотились филеры, у него не было паспорта, и он нарушил черту оседлости. Мы попрощались.

— Где же ты живешь? — спросил профессор, прощупывая железки у ребенка на шее.

— Теперь нигде. А раньше на Малюшинке, в странноприимном доме, там кухарка Пелагея Гавриловна добрая женщина. Я ей помогал чистить картофель и газеты читал с выражением. Но потом у нее случилась личная драма. Ее интимный друг Пахом стал изменять ей с дочкой хозяина дома. Пелагея Гавриловна запыла. Как напьется, так сначала плачет, а потом бьет меня чем попало, кричит, будто я продал Христа. Я пробовал ей объяснить, что это преступление произошло очень давно, тысяча девятьсот шестнадцать лет назад и я в нем участвовать никак не мог. Но она злилась еще больше, махала кочергой, потом заявила, что я немецкий шпион, масон, погубил Россию, пеку мацу на крови христианских младенцев. Я говорил, что пишу с кровью евреи не едят, она не кошерная, и мацу делают только из воды и муки, даже соли не кладут.

— Ося, ты помнишь, когда и как ты заболел? — спросил Михаил Владимирович.

— Лет в пять, наверно. Сначала я стал худеть. Мама кормила меня изо всех сил, но я худел. Я был бледный, и кожа совсем сухая, сморщенная. Потом побелели волосы, и я стал задыхаться, как побегаю немного, так задыхаюсь.

— Родители показывали тебя каким-нибудь докторам?

— Конечно. Меня смотрели лучшие доктора Харькова, даже сам профессор Лямпорт.

— Лямпорт? Иван Яковлевич? Очень интересно. Ты помнишь, что он сказал?

— Отлично помню. Он сказал, что я умный мальчик, что все пройдет. Надо есть больше мяса, овощей и фруктов, быть на свежем воздухе, обтираться холодной водой и делать гимнастику. — Ося вдруг раззевался, принялся тереть глаза.

Когда Михаил Владимирович уложил его на кушетку и прощупывал живот, ребенок уснул как убитый. Профессор накрыл его пледом, задернул шторы в кабинете.

— Он не заразный? — шепотом спросил пожилой фельдшер Васильев, который все это время был в кабинете.

— Нет.

— А что же это? Чем он хворает, бедняга?

— Пока не знаю. Может, крайняя степень истощения. Но говорит он живо, соображает отлично. При такой тяжелой дистрофии возникают психические нарушения, астения, депрессия, психозы.

— Да уж, с головой у него все в порядке, — фельдшер хмыкнул, — шустрый, даже слишком. Сказки рассказывает, про аэроплан, про ворона. А вдруг и про возраст свой тоже наврал?

— Ну сколько ему может быть, как вы думаете?

Васильев на цыпочках подошел к кушетке, при тусклом свете стал вглядываться в лицо Оси. Во сне он больше походил на ребенка, чем на старика. Морщины разгладились, щеки и губы порозовели. Тень падала так, что не видно было седины и стариковской плешки на круглой голове.

— Неужели правда ему только одиннадцатый год? — спросил фельдшер.

— Да. Вряд ли больше. Но организм его изношен, как у семидесятилетнего старика.

— Господи, помилуй, сколько же ему осталось?

— Год, полтора. Сердце слабое. Как проснется, покормите еще раз и дайте побольше теплого сладкого питья.

— Михаил Владимирович, вы хотите его здесь оставить?

— Хочу, не хочу, но деваться ему пока некуда.

— Так ведь мест совсем нет, все койки заняты, — возразил фельдшер, — и его превосходительство узнают, будут возражать.

— Я не сказал, чтобы вы клали его в палату к раненым. Этого не нужно. Пусть ночует здесь, в моем кабинете. Принесите ему белье, подушку, зубную щетку, мыло, полотенце. А с его превосходительством я объяснюсь.

В вестибюле Михаил Владимирович увидел дочь. Таня дремала в углу, в кресле.

— Я же велел тебе взять извозчика и ехать домой.

Таня зевнула, потрясла головой, чтобы проснуться, и спросила сиплым, севшим голосом:

— А где Ося?

— Спит у меня в кабинете.

— Ты понял, что с ним?

— Боюсь, что да. Хотя это совершенно невероятно.

* * *

Москва, 2006

Ключи, перчатки, кошелек. Эти три предмета казались Соне заговоренными. Они всегда исчезали в самый неподходящий момент, когда надо было срочно выбегать из дома. Папа в таких случаях говорил: «Шишок, Шишок, поиграй и отдай!» — и волшебным образом все находилось, будто правда жил в тесной городской квартире капризный маленький домовый. Папу он слушался, Соню — нет.

Она металась по комнатам, по кухне, заглядывала во все шкафы и ящики. Перчатки пропали бесследно. Оставалась надежда, что Соня забыла их в машине. Кошелек валялся на полке в ванной. Ключи Соня взяла папины, они лежали в кармане его дубленки. В том же кармане Соня обнаружила мятую цветную картонку. Это была карточка гостя отеля «Кроун» в городе Зюльт-Ост, Германия.

«Зюльт, Зюльт», — повторяла про себя Соня, сбегая вниз по лестнице.

Ее старенький голубой «Фольксваген» стоял во дворе, занесенный снегом и безнадежно запертый с трех сторон чужими машинами. Соня посмотрела на часы и помчалась к метро, убеждая себя, что все к лучшему. Сейчас такие пробки, что можно застрять часа на полтора. А на метро она доедет за двадцать минут, к тому же не придется искать место для парковки.

На «Белорусской» неожиданно встал эскалатор. Сзади на Соню навалился дядька в камуфляжной куртке. От него несло перегаром. Соня ухватила за поручень, чтобы не упасть на маленькую хрупкую бабушку. Не упала, но больно вывернула правую руку.

На платформе скопилось много народу.

— Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны, — сообщил радиоголос.

Стрельба в правом ухе продолжалась. Температуру Соня сбילה аinalgинoм. Голова слегка плыла, колени дрожали от слабости. Толпа повалила из поезда, сердитая дежурная вместе с милиционером быстро обходила вагоны. Из последнего выволокли сонного дядьку в тулупе. Милиционер нес его полосатый баул, дядька ворчал и тер глаза кулаками. Пустой поезд умчался со свистом. С эскалатора хлынул очередной поток пассажиров. Соню теснили все ближе к краю платформы, она решила не ждать, перейти на Кольцевую и доехать до «Кузнецкого моста» через «Краснопресненскую».

По лестнице на переходе медленно двигалась плотная толпа. Соне стало жарко. Она расстегнулась. Отлетела пуговица от дубленки. Это была уже третья потерянная пуговица, осталось всего две, а запасных не было. Соня с тоской подумала, что придется покупать и пришивать новые.

В голове продолжало пульсировать короткое глухое «Зюльт». Это было похоже на стук дятла.

На гостевой карточке стояли две даты, приезда и отъезда. Получалось, что папа прожил на маленьком острове Зюльте, в отеле «Кроун», в номере 23 десять суток. То есть нигде больше в

Германии он не был. Долетел до Гамбурга, оттуда на поезде по знаменитой насыпной дамбе отправился на остров, в город Зюльт-Ост. Зачем?

Когда она выскочила из метро и перебежала дорогу, в сумке заверещал мобильный.

— Соня, с вами все в порядке? Вы не заблудились? Не застряли в пробке? — услышала она голос Валерия Павловича Кулика.

— Я скоро, я уже близко, — ответила Соня.

В нескольких сантиметрах от нее резко затормозил и засигналил грязный «Форд». У Сони стукнуло сердце. Она только сейчас заметила, что перебегает на красный, машин полно и она посреди улицы. В два прыжка она добралась до разделительной полосы, чтобы дождаться зеленого.

— Я совсем рядом, — сказала она в трубку, — вот, я вижу, кафе «Грин».

— Так, Соня! Вы опять все напутали. Не «Грин», а «Григ», и не кафе, а ресторан. «Грин» это забегаловка. Не отключайтесь.

Кулик объяснял ей, как идти к ресторану, шаг за шагом, пока она не оказалась внутри.

— Чем могу помочь? — надменно спросил охранник-шкаф в безупречном костюме.

Вокруг был мрамор, живые цветы, картины в золоченых рамах, бархатные кресла и зеркала. Гигантские, беспощадные зеркала, в которых отражалось все в подробностях. Дубленка, купленная пять лет назад на Савеловском рынке, пучки ниток вместо пуговиц. Плохо сидящие, но единственные приличные черные брюки. Коричневые сапоги в неистребимых разводах от соли зимних московских улиц. Пух белого свитера давно скатался комочками. Волосы следовало бы уложить феном, а лицо подкрасить. Но поскольку Соня почти никогда этого не делала, то и сейчас забыла. А зеркала напомнили.

Швейцар не хотел ее раздевать. Охранник говорил по телефону и как будто не слышал ее робкого «Меня ждут», стоял так, что она не могла его обойти. Из зала вышла высокая, феноменально красивая брюнетка, остановилась, принялась подкраши-

вать губы, искоса, неодобрительно посмотрела на Соню. Особенно не понравились ей коричневые облезлые сапоги под черными брюками.

Наконец появился Кулик, большой, мягкий. Соня заметила, что он сбрил остатки волос, стал откровенно лысым и расстался с очками, наверное, линзы вставил. Он был без пиджака, голубая рубашка туго обтягивала пузо. Он блестел, лоснился, улыбался и чувствовал себя здесь как дома.

— Рад вас видеть, Сонечка! А что бледная? Глазки красные? Ох, простите, простите, девочка, я все знаю, вы потеряли папу, сочувствую от всей души.

Он снял с нее дубленку, отдал швейцару. Тот подобострастно заулыбался и принял из рук Валерия Павловича Сонино рыночное старье с почтением, достойным норковой шубы.

В зале свет был не таким ярким, и Соня слегка расслабилась. Кулик повел ее в самую глубину, где столики прятались в нишах за бархатными шторами.

— Сейчас я познакомлю вас с очень важным человеком, — шепнул он, — постарайтесь ему понравиться.

За столиком сидел мужчина лет сорока пяти. Светлые жидкие волосы зализаны назад, лицо неприятное, надменное. Грубые крупные черты, толстые бледные губы. Он встал навстречу Соне, пожал ей руку, слишком крепко, так, что пальцы заныли, улыбнулся, и улыбка вдруг удивительно преобразила его. Засверкали белые зубы, черты смягчились, стало заметно, что глаза у него ярко-голубые и вполне живые.

— Зубов, — коротко представился он.

— Вот, Иван Анатольевич, я привел вам самый лучший экземпляр, — сказал Кулик и отодвинул стул для Сони.

— Как вы себя чувствуете, Софья Дмитриевна? — спросил Зубов, откровенно разглядывая ее. — Кажется, вы приболели?

— Да, немного. Но теперь уже выздоровела. Спасибо. — Соня спряталась от его пристального взгляда, уткнувшись в меню.

— Возьмите форель, — посоветовал Кулик.

Когда заказ был сделан и официант ушел, Зубов спросил:

— Скажите, Софья Дмитриевна, кроме тех трех статей по апоптозу, которые висят в Интернете, у вас есть еще какие-нибудь работы на эту тему?

— Ее диссертация об этом, я же говорил вам, — ответил за Сою Кулик.

«У Зигфрида Ленца есть роман “Урок немецкого”, там действие происходит на острове Зюльт, — вдруг вспомнила Соня, совсем некстати. — Вторая мировая война. Нацистская Германия. Художник сослан на север, на остров Зюльт. Художнику запрещено рисовать, и начальник местной полиции обязан следить, чтобы он не брал в руки ни кисть, ни карандаш. Сын полицейского, маленький мальчик, втайне от отца навещает художника, они становятся лучшими друзьями. Вот почему слово “Зюльт” мне знакомо. Я читала роман Ленца по-русски и по-немецки, он мне страшно нравился когда-то».

— Что такое васкуляризация? — низкий голос Зубова звучал слегка обиженно.

Соня вздрогнула. Оказывается, она говорила все это время, пыталась объяснить, над чем работает в последние пять лет.

— Иван Анатольевич занимается кадрами, он не биолог, а экономист по образованию, так что вы попробуйте обойтись без нашей заумной терминологии, — мягко напомнил Кулик.

У Сони пересохло во рту. Она залпом выпила полный стакан минералки.

— Раковые клетки вырабатывают особый белок, ангиогенин, который вызывает образование капилляров, то есть васкуляризацию, — стала объяснять Соня, — опухоль как бы притягивает к себе новые растущие сосуды, через них ест и дышит, становится неотъемлемой частью живого организма, причем самой сильной и агрессивной его частью. Еще в середине семидесятых удалось определить полную аминокислотную последовательность этого белка, найти ген, который отвечает за его синтез. Но на этом этапе исследования зашли в тупик.

Зубов не сводил с Сони ярко-голубых глаз. Нельзя было понять, слушает он или просто изучает Сою. Глаза ничего не выражали. Соне хотелось верить, что слушает. Иначе зачем просил

рассказать? Кулик скучал, все оглядывался, ждал, когда принесут закуски.

— Если я вас правильно понял, вы сейчас говорите об онкологии? — уточнил Иван Анатольевич. — Но при чем здесь самоубийство клетки?

— Рак — одна из форм самоубийства живой системы, на макроуровне, то есть на уровне всего организма. Раковая клетка практически не отличается от одноклеточных, ведет себя так же, как бактерии. По идее организм должен реагировать на нее мощной иммунной атакой.

— Не самая аппетитная тема, — хмыкнул Кулик и убрал со стола мобильник, чтобы официант мог поставить перед ним тарелку с крабовым салатом. — Соня, прервитесь и обратите внимание на карпаччо.

«Правда, что же я все болтаю? — спохватилась Соня. — Им, кажется, это совсем неинтересно».

— Валерий Павлович сказал, вы свободно владеете английским и немецким. — Зубов продолжал сверлить Соню взглядом, при этом ловко подцепил маслинку и отправил в рот.

— Немецкий у меня слабоват, я им редко пользуюсь. Английский в активе.

— Детей у вас нет, мужа тоже. — Зубов поднял на вилке прозрачный ломтик сыра и, прищурившись, взглянул сквозь него на Кулика.

— Да, — сказала Соня, — я одна. Мама с новым мужем живет в Сиднее.

— У нее был замечательный папа, но он умер совсем недавно, — сказал Кулик.

— Соболезную, — механически кивнул Зубов, — то, что вы одна — это дополнительный плюс. Для вас не составит проблемы переехать на год в Германию. Вы там бывали?

— Нет.

— Придется вспомнить немецкий. — Прожевав сыр, Зубов опять улыбнулся Соне. — Скажите, а откуда такая страсть к биологии? У вас в роду были биологи?

— Нет.

— Вы уверены?

— В наше время мало кто знает о своих прадедушках, — заметил Кулик, — люди теряют корни, а напрасно. Вот я, например, совсем недавно выяснил, что мой предок со стороны отца был знаменитым медиумом и поэтом. Модное сочетание для начала двадцатого века. В эзотерическом альманахе «Оттуда», который выходил в Петербурге с девятьсот четвертого по девятьсот восемнадцатый, я нашел статьи, стихи и даже фотографию Степана Кулика, моего замечательного предка.

— Я дальше бабушек и дедушек ни о ком не знаю, — сказала Соня.

— Ну и кем же они были? — спросил Зубов.

— Мамин отец всю жизнь проработал бухгалтером в Министерстве сельского хозяйства. Этого дедушку я помню. Папин был летчик, но он погиб еще до папиного рождения.

Соня принялась наконец за карпаччо. Розовые ломтики лосося оказались потрясающе вкусными, она давно ничего подобного не ела, зажмурилась от удовольствия.

— Вкусно? — спросил Зубов.

— Да, очень.

— Розы вам понравились?

Соня поперхнулась, закашлялась. Кулик налил воды, протянул ей стакан. Она жадно выпила, кашель прошел.

— Мы никак не могли вам дозвониться. — Зубов одарил Соню очередной улыбкой. — Мы знали, что у вас день рождения, круглая дата. У нас принято поздравлять наших сотрудников, дарить подарки. Вы пока еще не с нами, но, надеюсь, очень скоро станете полноправным членом нашей дружной корпорации.

* * *

Москва, 1916

Ответное письмо из Харькова от доктора Лямпорта пришло довольно скоро. Доктор сообщил, что действительно пользовал мальчика Иосифа Каца в течение пяти месяцев. Туберкулез, рак,